

ДМИТРИЙ
МЫЗНИКОВ



ПО ДОРОГЕ
ДОМОЙ

AF



ДМИТРИЙ
МЫЗНИКОВ

ПО ДОРОГЕ
ДОМОЙ

ПОВЕСТЬ

БАРНАУЛ 2015

Книга издана на средства краевого бюджета
по результатам краевого конкурса
на издание литературных произведений

Мызников Д. В.

М941 По дороге домой. Повесть / Дмитрий Мызников ;
Управление Алтайского края по культуре и архивному
делу, Алтайская краевая университетская научная библи-
отека им. В.Я. Шишкова. – Барнаул : Алтайский дом печати,
2015. – 184 с. – (Победители краевого конкурса на изда-
ние литературных произведений).

ISBN 978-5-98550-357-9

Главный герой повести Всеволод Норов осознаёт бес-
почвенность своих юношеских иллюзий о жизни в мега-
полисе и решает вернуться домой — в небольшой сибир-
ский городок. Тем самым он подводит черту под большой
частью своей жизни. Можно ли пересечь эту границу так,
чтобы новый шаг не стал движением вспять? Существует
ли жизнь там, где она давно завершилась?

Книга адресована широкому кругу читателей.

ББК 84 (2Рос – Рус) 6-4

ISBN 978-5-98550-357-9 © Д.В. Мызников, 2015
© А.В. Кирилин, редаKTypa, 2015
© КГБУ «Алтайская краевая
универсальная научная библиотека
им. В.Я. Шишкова», 2015

ПО ДОРОГЕ НА... НЕБЕСА

А название повести Дмитрия Мызникова — «По дороге домой». А я в своем предварительном слове взял и заменил вторую часть этого названия словами из стихотворения, а потом и песни — поэта и художника Александра Карпова. Песня так и называется — «По дороге на небеса». Объяснять — почему я это сделал? Ну, по некоторому созвучию хотя бы. Но это не главное. Дорога домой по Мызникову — вечное скитание, в котором детские видения и запахи приходят в чужом краю, а в отчем доме с некоторых пор поселились чужие запахи и посторонние тайны. Дорога домой — это путь к себе и от себя одновременно. Где он, этот дом, когда тут, там, а еще вон там оставлено по частичке себя. Где остановят тебя ноги и душа скажет: все, приехали! Может, это всего-навсего крыша над головой, а может, конечное обиталище для души, тела и помыслов? Но куда бы ни стремились мы, уж точно, не в преисподнюю. Стало быть... На небеса, мой друг, на небеса!

Причудливы пути, ведущие к дому Дмитрия Мызникова. Причудливо все на этом пути, и даже архитектура корневого исторического жилья, уходящего в подzemелье. Кстати, на мой взгляд, самая захватывающая, интригующая и волшеббно завораживающая часть повести — история Норова и встреча с Бариним. Здесь удивительным образом сплетены притча, тайна, пейзаж, сам воздух... Думаю, этот мир, в котором самому автору как раз и не до-

велось пожить, а только его неведомым и едва ведомым предкам, — ждет нового возвращения к нему..

Богата художественная палитра Дмитрия Мызникова, давно я не встречал автора, который в давно известных словах, их сочетаниях, выражениях с таким изяществом находит новое звучание. Это говорит, прежде всего, о тонком чувстве языка пишущего, о том, что язык для него — величина значимая и часто самодостаточная.

Уверен, проза Дмитрия Мызникова обретет своих исследователей, потому что, сохраняя филологическую точность, он проявляет изобретательность там, где, казалось бы, все уже до него изобретено. Повествование отличает удивительное сочетание краткости (я бы определил точнее — лапидарности) и подробной детализации событий, явлений, объектов. Можно было сказать, что дорога к Илюхино шла по холмистой местности, а Дмитрий сказал так: «Илюхино приближалось волнами, словно лежало среди вдохов и выдохов». Разница? А вы произнесите — и почувствуете, как в вас отзываются эти вдохи и выдохи, как напрягается диафрагма и вздымается грудь. Иногда волшебство художника только диафрагмой и можно ощутить. Не все же разумом мерить!

Собственно, записки Дмитрия Мызникова можно назвать путевыми заметками (сам же определил в названии — дорога!) Да, путь этот, как уже было сказано, причудлив, замысловат, и, если следовать за автором, прочерчивая мысленно некую линию, получится что-то вроде перевернутой восьмерки или, что известно просвещенному читателю — знак бесконечности. И неспроста свой последний (в этой повести) взгляд художник направляет «в самую глубь России».

Мало привожу цитат. А зачем? Язык богат, своеобразен, боюсь, в цитаты нужно было бы перевести большую часть текста. А вот еще об одном не могу не сказать, об эпическом мышлении автора. За незатейливыми картинками быта старых и малых своих соотечественников Мызников дает возможность увидеть исторический слой, срез некоего времени. Вы посмотрите, чего стоят всего лишь несколько строк, брошенных как бы ненароком. Речь идет о хозяине, пропавшем на войне давным-давно. «Те-

перь от него осталась только жёлтая бумажка о неизвестно пропавшем бойце да несколько старых фоток. Остальную жизнь его жена просидела у окна. Говорят, она видела его лет сорок назад. Будто бы шёл он к дому, вглядываясь в наше окно, и женщина в красном коротком пальто тянула его прочь...» И все. И целая полувековая жизнь. И судьба. И сволочь-одиночество. И еще много чего.

Напоследок замечу, что я знаю почти все из того, что описывает Дмитрий Мызников — и питерские мосты, и барнаульские мосты, переходы, памятники, скульптуры, но я ровно настолько же не знаю ничего из всего этого. Мне это поведал писатель. Как мог увидеть только он один!

Анатолий КИРИЛИН

Если пращник, став у черты мира,
бросит свой камень дальше,
куда полетит камень:
вперёд или вспять?

Секст Эмпирик

НА ПРИЧАЛЕ

Миф — это прошлое,
никогда не бывшее настоящим.

Ф. Зелинский

Тем летом я работал на реке. Получилось это внезапно, подобно тому, как вдруг воплощается самая фантастическая мечта. Не сказать, что я стремился к этому, но и не задумывался, что, живя на берегу, можно работать на воде. А если бы такие мысли пришли в голову заранее, это показалось бы невозможным и упёрлось в известный вопрос — «как». И действительно: как сделать из палки верёвку или стать из учителя моряком? Впрочем, и учителем я был не настоящим, а только натаскивал нерадивых учеников хоть сколь-нибудь правильно писать или говорить по-русски. Последние двое были издалека: армянин, по имени Сократ, которого приводил отец Эсхил Александрович и маленький Мао Кси — девятилетний китайский «Максим». Этот по-русски не знал совсем ничего и только робко мяукал что-то по-своему.

Тогда мне здорово везло на замечательные имена. Среди учеников попадались то Альберт Горшков, то Янис Полубабо, а то Иван Маркедонский. Вопреки намёку на могучее имя, этот последний был хилым и плаксивым мальчиком. Он не стремился не то что к обладанию миром, но вообще ни к чему. Роль «аристотеля» в моём лице была обречена выражением его, говорившим, казалось: «оставьте меня» и «я больше не буду».

Не сказать, что в последний зимний месяц все школьные балбесы вдруг поумнели, скорее, родители просто махнули рукой — быть может, решили за счёт бесполезных занятий возместить новогодний разгул... Так что мало-помалу я остался без работы и даже привык бездельничать и лениво листать газетки, пестрящие «рыбацкими» объявлениями сетевых продавцов. Впрочем, это будто

делало намёк на чистый, незастроенный горизонт и большую воду.

Работа нашлась внезапно. Тёплый апрель унёс невольский лёд. Река оживилась. Берега стали быстро обрастать пристанями и плавучими кафе. Их тащили с неведомых стоянок маленькие заспанные буксиры. Я бродил по набережной и порой заходил на причалы. Там-то и нашлось объявление о том, что судоходной компании требуется администратор. Откладывать было некуда и уже совсем нечего, так что я списал адрес, зашёл в контору и на другой день приступил к работе.

Моим хозяйством оказался старый облупленный дебаркадер с двухэтажным кафе, сквозь которое можно было выйти к кассе. Вопреки правилу, он не был именован и назывался, подобно сухопутной остановке, по ближайшей примете. Впереди, через реку — желтел дворец Меншикова, а позади ерепенил своего жеребца Медный Всадник. Он и дал имя моему «кораблю», притянутому стальными тросами к гранитной стене. Прежнего моста уже не было, и Всадник «скакал» только по старой памяти о переправе, от которой остался лишь небрежный намёк, в виде вытянутых в реку каменных губ.

В первые дни посетителей не было. Я только привыкал к лёгкой качке и мёрз в маленькой кассирской будке. От смеси безделья с детской фантазией мне хотелось думать, что я служу на флоте. Я раздобыл бушлат и фуражку, на которую вlepил кокарду старинного Доброфлота. Первой был чёрный забортный «речфлот», который позже сменился роскошной капитанкой в стиле «лloyd», заказанной у легендарного мастера из Севастополя с денежно-пиратской фамилией Пиастро.

Начинались белые ночи. Я провожал последний теплоход и уходил домой, не глядя на огоньки готовых к разводке мостов. Небо ещё светлело на западе глубокой голубизной, но стоило перевести взгляд вправо, и оно было уже густо-синим, сваливаясь дальше в дыру темноты...

Чтобы не проспать, я представлял себе плоский камень, мысленно писал на нём время, разбежался и закидывал в воображаемое тёплое море.

Поначалу день был так долгод, что первую неделю мне снились только причал и начальство. Среди других смутных образов я видел воду, корабли, Медного Всадника, менявшего позы. Он то ставил жеребца на дыбы, то ослаблял узду, то сам привставал в стременах и будто понукал коня сойти с камня и поскакать по ровному месту. Но конь храпел и упирался, не рискуя перешагнуть украшенную штырями решётку.

Сны будто не прерывались и незаметно переходили в явь. Белые ночи превратили два месяца в один нескончаемый день, который стал клониться к закату в середине июля. Утро и вечер только намечались. А ночей не было вовсе.

*

Весь Питер выражен в случайной единственной фразе: «Ночью дождь временами, а днём местами». Первая половина мая оказалась дождливой, так что по большей части приходилось сидеть в кафе или кассе, смотреть на серую воду и ставить ноги в опасной близости к раскалённому обогревателю.

Слева река. Краем глаза я видел затушёванный дождём Васильевский остров, старый фрегат, заслонявший от взглядов туристов Петропавловский шпиль, Адмиралтейство. От этой неподвижной картинки в голову стали приходиться какие-то бессвязные ритмы.

Серый свет затирает черты на далёких лицах:

Мелькнёт лицо, но это только внешность...

Но подходит девушка и можно рассмотреть детали:

*Твои штаны — оправа твоих ног,
моя оправа — украшение носа...*

В конце дня, когда закатывается и без того невидимое солнце, от нечастых прохожих остаются только памятные намёки:

*И лишь мечта бомжа — бутылка,
стоит печально на столбе...*

Наконец темнота сгущается и начинают бродить мысли о доме, оставляя в осадке неприязнь к сырой и промозглой дороге:

*И добрый Бог в очках и телогрейке
до дому нас подбросит на «копейке»
и не возьмёт за это ни рубля.*

Но кто эти мы, я не знаю. За восемь лет в Питере ни одной подруги не прижилось у меня до степени жены, так что дом хорош только горячим ужином, тёплой ванной и холодной постелью.

*

Накануне лета синоптики пророчили разное: одни предвещали необычайную жару, другие — холод. Прогнозы путались и разнились, отрицая друг друга. Но традиции в Питере сильны как нигде. Быть может, поэтому памятный ветер на позабытый День пионерии переменился и растащил облака, так что лето наступило вдруг.

Вместе с блаженным теплом безоблачный яркий июнь принёс вечернюю прохладу и ночные холода. Днём же тепло поднималось от воды, а поверх дул бриз. Он сдувал эту тёплую благодать и полными горстями швырял в лицо пронзительную речную влагу.

Где-нибудь там, на суше, в дальних парках деревья грустно повисли листьями. У нас же всё радовалось и сверкало, так что за первые летние дни я приобрёл ту особенную раскраску, которую именуют у нас «загар алкоголика», когда шея и руки загорают по контуру майки. Стоило от неё отказаться и вся легкомысленная «подмаечная» белизна скоро совершенно скрылась под скороспелым загаром. Теперь я ходил по палубе в одной фуражке и белых, с застёжкой на боку, морских штанах.

*

Десять часов. Утро не торопится, как, впрочем, утра большинства питерских жителей. Люди просыпаются долго, с трудом и мыслями о невыносимости бытия. Преодолеть сон и телесную тяжесть мне самому помогает только чувство долга, которое теперь неуловимо связано с ре-

кой, бушлатом и фуражкой. Детские мечты порой ответственной взрослого реализма...

На причале ещё никого, кроме меня и кассира. Теплоходы ошвартованы в три борта и топчутся на лёгкой волне вместе с дебаркадером. Матрос лениво кидает бутылки в звенящий мешок, потом медленно возит по палубе расстрёпанной «машкой».

Смотрю на «Руслана», увешанного от клотика до воды гирляндами разноцветных шариков. Ночное веселье закончилось, и теперь можно только вспоминать подготовку.

Корабли украшаются накануне. Шесть рук с удивительной ловкостью вьют вереницы шаров, выписывая на этих невесомых матрасах крепкие узоры. Их всегда хочется сохранить подольше, но венки и косы недолговечны. Весь вечер и ночь они трутся друг о друга, о заусеницы краски, о невский шершавый воздух и к десяти утра лопаются особенно часто, сея в пассажирских душах нервный испуг. Палуба усеивается разноцветными трупиками, так что к двум часам остаются только морщинистые «старички», которые вянут сами собой заблаговременно — ночью. Они напоминают о детстве, когда гелия ещё не было в природе, а дед, в моё удовольствие, тёр шары о седую свою шевелюру и лепил их к потолку, где они, украшенные чернильными глазами, долго и смиренно висели. Это было сродни фокусу, рассчитанному только на маленьких. Но было и волшебство, к которому дед уже не был причастен: «хрупкий» для всего острого и горячего шарик можно было безбоязненно проколоть иголкой. Только делать это нужно было в единственном месте — той точке, где сходилась вся его плоть — на «южном», противоположном горлу полюсе.

Наполненные упругой, но невидимой жизнью, они не любили ветреных людей, к которым относились женщины с тряпкой и дети, что создавали вредные для них завихрения. Но и без всяких помех за ночь они старели и ёжились, пока не опали под собственным весом.

*

Моя работа — направить людей к кассе, провести на теплоход, посадить и подольше заговаривать зубы. В этом есть благо — выиграть время и деньги, но и риск — разозлить. И лучше это, чем отправлять пустой теплоход.

Но пока ещё утро. Сажу на припёке — на верхней террасе. Солнце, вода, ветерок от залива. День выжидает. Он медленней солнца и не торопится за ним, ведь день — это люди. Набережная, эта параллельная река, уже полна, а у нас тишина и застой — река настоящая отдыхает после разгульной ночи.

Сверху хорошо наблюдать.

Неслышно болтают о чём-то мужчина и дама. Он с собакой. Кобель бегаёт вокруг и хвостом задирает даме юбку. Хозяин поощрительно хлопает собаку по шее. Дама кокетливо поправляет юбку и продолжает улыбаться. Ей за сорок — смекает: «Любишь меня — люби и кобеля».

Сегодня праздник. Внизу, по набережной, ходит какое-то городское начальство. Но стоит перевести взгляд, чтобы тут же перейти от начальников к родоначальнику — главной праздничной кукле. Вот он — памятник потомку Кобылы, предтечи последнего царского дома, — Петру. Так что выходит нелепость — жеребец под «кобылой». И понятно, чего испугался Евгений и почему скульптор так долго не мог найти идеальную форму лица. Он просто не решался придать ему естественное выражение. С маской же не поспоришь. Может быть, от этого мы и зовём памятник медной лошадью, тем объединяя кобыл с жеребцами?

Запоздалый дворник снимает с ограды новейший «навоз» — шампанские бутылки — приметы ночного разгула.

*

Женщины-экскурсоводы — каста энтузиастов. Одна из них уже начала работать и кричит так беззаветно, что, наверное, пугает и рыбу в воде. Их бодрость происходит из бессмысленного, но всегда восхищённого чувства. Они восторгаются городом, никогда не проникая глубже фасадов, будто живут в другом — радостном и комфортабельном месте, где встречные всегда улыбаются, беззакатно светит

солнце, а тучи обходят этот «остров везения» стороной. Вместо того, чтобы основывать свои сказки на правде, они неумолимо повторяют целый ворох несуразных легенд, так что поймать их за рукав, если бы кто захотел, можно совсем без труда, благо, на реке рукавов хватает.

Они говорят о прекрасной классической архитектуре, о северной Венеции... В ответ я вспоминаю зиму. Она истребляет острова — чисто выметает каналы и превращает город в бесплодный холодный Марс. На берегах рек и каналов стоят обнажённые, обманутые, озябшие на ветру колонны. Они нужны только глазу, как летние салюты ушам. Искусственно всё: ширина проспектов и бессмысленно скопированная с Запада узость улиц, натёршая уши местная «веротерпимость» и умышленное уличное противопоставление храмов — православие справа, всё прочее — слева. Потому и счёт домов здесь ведётся справа налево, так, чтобы выпукло показать чужеземные заблуждения. Всё для показухи, для понта, для дорогой и безумной потехи.

Обессиленные дамы в тупике. Но нет, нет, я не спору. Есть чем восхищаться: чудовищными фундаментами-ваннами и крепчайшими стенами, каждый кирпич в которых — чистое золото. Вложенные в постройку и содержание города средства превышают стоимость некоторых стран вместе со всей их историей. И будь подвалы тамошних домов затоплены, как здесь, сотню лет кипятком, они бы рухнули, не пережив коммунизма.

Предводитель гидов — дама без возраста. Зовут её Марлен Юрьевна. Между собой мы поначалу звали её просто Марленой, а позже, за спесь и безрукость — Венерой. Что ни берёт она в руки, всё непременно роняется или приходит в негодность: записи разлетаются в стороны, микрофоны немеют, визитки сыплются в воду. Всё это дополняется вполне венерической внешностью: замазанную толстым слоем пудры сыпь на лице дополняет подобный дикарской татуировке узорный пигмент на коже всег-да оголённых по локоть рук.

В минуты безделья она любит задавать вопросы. Как полагается божеству, она не спрашивает, а вопрошает. Она заранее знает ответ и только экзаменует, пытаюсь

ущипнуть побольнее. Но её, как и других, слишком просто поставить в тупик, так что поначалу я старался отвечать на её вопросы округло.

Кроме странной стилизации под польский, никакими языками она не владеет, но почему-то считает себя полиглотом. Свой «польски ензык» однажды она применила. Лысоватый поляк вежливо слушал её бессвязные «джень добре», «пшепрошем» и «вялко» до тех пор, пока она не сказала заветного — свою фамилию. Горло у неё уже спиралось в ожидании одобрительной улыбки, но поляк недоумённо молчал и тогда она, не в силах сказать ещё что-то, ткнула себя в грудь: «я... Крицкая... фром Питербурх»... Поляк не нашёлся, что ответить и радостно пожал ей руку, добавив: «Малиновский фром Полония, Краков». И то ли в этой «полонии» угадав Аполлония, то ли поддавшись на вежливость пана, после пожатия она засветилась улыбкой и ослабила руку, будто в надежде на поцелуй. Но поляк уже отвернулся и звал своих многочисленных панн, которые беспорядочно разбрелись по причалу.

Как кощеева смерть заключалась в утке, яйце и иголке, так и марленина честь хранилась в фамилии. При всяком случае она бесстыдно подчёркивала своё воображаемое аристократство. Эта престарелая «княжна», может, и была правнучкой какого-нибудь ксендза, но, скорее, если судить по ухваткам — потомкой холопа, что служил на подхвате в какой-нибудь местечковой корчме.

В конце концов, выяснилось... «Венера» оказалась все не Марлен, а Матрёной откуда-то из-подо Львова. За тридцать лет жизни в Питере истребила только гэканье. Натянутые жилы на перетрудившемся горле говорили о многолетней борьбе.

Не желая ни с кем ссориться, я терпел её разглаголы и всё же нарвался. Клиентов не было. Я устроился в кафе против выхода и читал какую-то книжку. Марлена пила чай, скучала и, судя по лицу, что-то придумывала. Изыскав очередную возможность показать бедность русского языка, спросила: «Как гиды по-русски»? «Показушники», — отвечал я, чем немедленно нажил в лице Марлены злейшего врага.

*

Экскурсии, как эстафета. Запеваёт Марлена, а следом целый день без перерыва надрываются ещё четыре «гидессы». Набрать пассажиров — их первое дело, основа дальнейших трудов. Как только одна отправляется в рейс, микрофон перенимает другая. Голоса сменяются, и понемногу подтягиваются люди. Одни — важные «господа», трясущие у носа деньгами, другие — средней руки — идут за билетом к кассе, третьи — льготники, инвалиды, сироты. Здесь нужны глаз и память. Оцениваю навскидку или спрашиваю о том, что может побудить на правду и решаю: разрешить или отказать. Стоит уступить раз, как назавтра они появятся вновь, уже с «льготной» женой, товарищем или подругой.

Всех людей невольно делишь на наших и иностранцев. О них — иностранцах — можно вспоминать бесконечно. О хмурых и молчаливых азиатах, стеснительных французах, надменных немцах, спесивых поляках и сдержанных норвежцах. У всех них есть что-то общее, но «лучшие» из них — англо-саксы. Приключение для них всё, что выходит за рамки их гладкой действительности. Будто вырвавшись из стен частной школы, они в свободном экстазе трясут навсегда отбитыми учительской линейкой руками и улыбаются что есть сил. Поставлена эта мина так глубоко, что её уже ничем не взорвать. При любой оступке, ошибке, оговорке у них всё «олрайт», всегда смешанный с замученной улыбкой. Они будто боятся, что их пристрелят, как охромевшую лошадь, разве что кони не прячут за спину рук. Выходит, и они служат *кому-то*, кто выше их. Кто же он? Или — что?

Невзирая на пол, все они — феминисты. Можно бесконечно смотреть на пренебрежение матросской рукой и следующие запинки, при которых из кармана у лаковых старичков выпадает бутылка дарёной водки. Или как они, стоя, будто поминая потраченные «кровные», едят, не в силах вместить всего блюда в свой краткий и напрочь убитый фастфудом желудок.

Всё это, но больше их бодрое любопытство, вызывает у меня злое сопротивление, что не поддаётся никакому такту: мои старики давно в могиле, а эти вот ерепенятся,

ездят, едят, наслаждаются всем на свете. Откуда берутся их силы? Они сделаны из чего-то другого? Или, может быть, тот самый *кто-то* даёт им силы взаимы? Вот только чем они ему платят?

Говорят, мысли привлекают события. Утро девятого мая. Из кафе выходили люди, спрашивали кассу, время отправления или просто шлялись по палубе, глядя туда и сюда. Я, было, пошёл на корабли, когда из-за угла вышла парочка старичков с иностранной добродетелью на лице. Эти сразу распознали моё назначение и решительно по-дошли.

Они говорили по-русски, как люди, которые учили этот язык в школе. В голосе не было слышно ничего из того многоголосия акцентов, которым богат был Союз. На мой вопросительный взгляд старик просил дать ему ветеранскую льготу. Билеты у нас и в самом деле были дóроги. Но даже для наших мы не делали скидок, разве что пропускали каких-нибудь редких старушек-блокадниц, которые нас, впрочем, отнюдь не осаждали.

От этой просьбы я растерялся: человек стар, но повсему было видно, что он может заплатить, и это отнюдь не разорит его, не заберёт его кусок хлеба, не заставит голодать и думать о завтра. Судя по внешности, по не сгорбленной бедной старостью осанке, он был и здоров, и вполне состоятелен... Словом, тут было отчего недоумевать.

Я уже готов был скостить ему половину цены и безнадёжно оглянулся. За спиной стоял Львович.

Львович — мой начальник и отставной капитан. За годы он скопил в себе целый букет особенностей. В нём будто два человека, где один — продолжение и, вместе, противоположность другого. Эта черта — прежде всего в языке. Так, если в разговорах с матросами он говорит: хрен его знает, то в беседах с людьми важными или под диктовку случая безошибочно заменяет «хрен» на «Бог». Совместить эти случаи вряд ли возможно, но тот, кто смог бы свести их воедино, уяснил бы себе всю странность этой подмены. Коротко говоря, он обожает богохульствовать. При этом лицо его выражает благообразную пронизательность. Оно живёт особенной жизнью. В критические

минуты он делает странную гримасу: вдруг хмурится, супя брови и почти закрыв глаза, а затем сперва открывает их, и вторым уже движением взлетают брови. Всё это — знаки решительности и, порой, беспощадности.

Кроме всего, он умеет внезапно появляться и следом столь же искусно исчезать, так что, когда надо, найти его невозможно.

Вот и теперь, судя по всему, он слышал весь разговор. Не прост, ох не прост мой начальник, говоря: «Спроси у него, по какую сторону окопов этот ветеран льготы зарабатывал, а то хрен его знает, какая льгота ему полагается»... Львович говорил громко, так что я почувствовал, а потом и увидел, как «ветеран» стушевался по всем правилам достоевского камуфляжа и, прихватив свою бабку, выскочил на волю так резво, словно его осенили крестным знаменем.

Потом терзало сомнение: а, может, он — бывший союзник? Но логика Львовича железнее лома: бывший союзник — нынешний враг!

*

После обеда, когда гиды окончательно хрипнут, забираю у них микрофон и начинаю кричать, на корню убивая слабую надежду «корытников» — владельцев маленьких лодок, что набирают в день едва по десятку туристов. Почти слышно, как они ругаются и скрежещут зубами. Но всё в мире можно решить — не нажить под боком врагов и даже получить небольшой приятный гонорар. Но это потом. А сейчас я валяю дурака, голосом уподобляясь оглушительному лас-вежскому Майклу: «Товарищи и друзья, граждане и гражданки, велосипедисты и автомобилисты! Примите участие в грандиозной экскурсии по Большой Неве. Белоснежный двухпалубный красавец-теплоход уже готов отойти. Ваше путешествие начнётся от причала «Медный всадник». Мы дойдём до моста Петра Великого и вернёмся обратно в течение часа»... Дальше я неизменно впадаю в могучее течение патриотизма и державности: «Вы сами оцените величие и красоту столицы Российской Империи и сравните её роскошь с бедным убранством Парижей и Лондонов. Поторопитесь! Количество билетов и

мест ограничено. Наш круиз начнётся через пять минут». Впрочем, всё это — только слова: Империи давно уже нет, Петровский мост ещё Большеохтинский, теплоход — совсем не красавец, экскурсия «умопомрачительна» лишь по причине гидовского вранья, от которого за час должна треснуть даже самая крепкая голова, а «пять минут» нередко превращаются в китайский час*.

*

Погода крутится, как ветер царя Соломона. От залива напирает большая дырявая туча, сквозь которую свешиваются клешёные солнечные хвосты. Людей на набережной немного. Они проходят мимо, делают шаг в нашу сторону, но опасливо смотрят на небо и отступают.

Глядя в иные лица, не сразу можно понять: иностранец он или наш, гуляет или оставил машину напротив. Вот к будке подходит высокий человек. Его светлый, в тонкую полоску костюм похож на географию малого бизнеса: два пункта — старт и финиш, и много рейсов. Говорит он с каким-то непонятным призвуком, будто всё время старается сделать ударение на хвост слова, но останавливается и как бы поворачивает назад на полпути, так что получается, что говорит он словно «вприсядку».

Он широко оглядывается по сторонам и подходит к окошку.

— Чего желаете? — голос кассирши.

— Долго ли ждать?

— Как только, так сразу.

— А если сразу, то сколько?

Я выхожу из тени и называю сумму. Пассажир, несмотря на рисунок костюма, согласен, но идёт не на палубу, а наверх — в кафе. Бегу следом, спрашиваю и разъясняю

* Традиционный китайский час равен двум европейским, что вполне сочетается с другими особенностями этой страны. Ко всякому китайскому явлению можно смело приписать слово «вдвое». Большая часть того, что производится в Китае, почти всегда «вдвое». Но здесь нужно не складывать или умножать, а делить и отнимать. Так что рукава рубашек, порой, вдвое короче, петарды взрываются вдвое быстрее, а собаки, приготовленные китайским поваром, вдвое вкуснее. Стоит только надеяться, что один китаец только этим равен двум европейцам.

капитану — у пассажира морская болезнь — он хочет только смотреть.

Теплоход полчаса курсирует между мостами. Человек сидит наверху, смотрит по сторонам, пьёт коньяк и уходит. Чего не бывает?! Я стою наверху и ещё долго смотрю ему вслед: зачем возить тело, если видят глаза? Только как называть таких «пассажиров»?

Тучу пронесит мимо. Наддаёт ветер. В рубках начинают ворчать рации: прибывает вода. Она поднимает и колеблет причал. Трое матросов вскрыли трюм и пытаются вытащить трос, толщиной в хорошую палку. Он слезался своими кольцами и никак не поддаётся: свивается и скручивается, как настоящая змея, что не хочет покинуть нагретого места. И хотя матросы обильно матерятся, работа от этого больше не спорится, а «подмога» даёт советы и только мешает... Трос уже красит ржавчиной серую палубу, но Львович машет рукой — река уходит спокойно. «Змею» волокут в дальний угол и накрывают брезентом.

*

Теперь, по прошествии времени, я смотрю на Неву, как на карту. Вижу её протянутые к заливу длинные пальцы. В них, скрюченных от напряги, он кажется огромным плоским блюдом, которое река держит на весу и куда-то несёт. Но унести так и не может. Иногда, когда в лицо ей дует нагонный западный ветер, видно, как наливается силой «рука», увитая по краям мощными жилами проток и каналов. И река уже не рука, а лицо. Оно сердится, и от чрезмерных усилий раздувает без того широкие ноздри. Впрочем, это понятно. Даже в океане вода и ветер имеют разные языки и никогда не могут договориться. Так что западный ветер — злой противник тёзке-течению. Это хорошо видно нам. Вот уже «Москва» и «Людмила» едва только могут просунуться под сводом моста. Но уже не рискуют — им не вернуться обратно. Причал — наша «земля» — поднимается с нами. И тут уж приходится отказывать пассажирам, сколько б они ни сулили. Да что говорить о Неве. Куда быстрее выходят из себя каналы. Их низкие трубы-мосты не пропустят даже лодчонки. Речное

движение замирает. И все, кто причастен к воде, смотрят на «мерку» — ступени каменных спусков. Три из них вода уже одолела и в рубках всё те же слова: «Плюс восемьдесят — девяносто — сто десять».

Налево и право тоже причалы. Суда спешно швартуются и, в нарушение правил, стоят пятью бортами, так что сейчас можно увидеть целую выставку кораблей.

Почти весь нынешний флот — «молодёжь» прежних времён, когда все теплоходы были похожи и различались только именами. Но и те были из одной «тарелки», так что половина невского флота — Пушкин. Но все эти «Русланы», «Людмилы», «Наины» давно разбежались по реке, как вырванные из книги странички. Так что старушка «Наина» с «Русланом» у нас, а «Людмила» напротив — не за морем, но за рекой.

Велико разнообразие корабельных задниц и лиц: от древней, но залихватской «Маруси» до «молодой» — пятнадцатилетней уродины. Говорят, её хотели назвать «Черномором». Но Балтика ревнива. От греха подальше и ради моды корабль стал «Балтиморой». Широкоскулый, с невообразимыми обводами, тяжёлой угловатой кормой, горящей четырьмя этажами квадратных окон, на подходе он кажется не совсем кораблём, а чем-то другим — неведомой конструкцией, что научилась держаться на воде только силою смутных времён, когда требовались любые плавсредства. При взгляде на «Балтимору» невольно вспоминаются корявые сокращения большевицких начал, вроде «замком по балде» и «замком по морде»^{*} или приходит на ум какое-нибудь странное слово, вроде «лау-теншлегерсгюгель».

Больше других мне нравятся маленькие прогулочные лодочки. Они похожи на лоцманов — тех проворных маленьких рыб из фильмов Би-Би-Си, что питаются крош-

^{*} Сокращения первых советских лет порой отличались замечательным остроумием. Существовали ли эти — доподлинно неизвестно, но память о них, в виде загадки, сохранялась ещё лет двадцать назад. Ответом была расшифровка, где «замком по балде» означало заместителя командующего по балтийским делам, а «замком по морде» — заместителя командующего по морским делам.

ками от акульского стола. Лодки часто называют подобно старинным эсминцам: «Бравый», «Храбрый», «Бодрый», «Забияка». Вопреки грозным своим именам, подходят к нам они робко и высаживают пассажиров, торопливо волнуясь.

В большой чести они по высокой воде и за два часа собирают трёхдневную мзду, так что я отправляю им всех клиентов подряд. Вечером меня вознаградят, а потом снова будут ждать «новоднения».

Вот и сейчас по сходням идут двое из тех, кому нужна лодка.

Я говорю, показываю на каменный спуск, на небо и развожу руками.

— Ты, земляк, не из Городка ли будешь? — спрашивает высокий мужик с военной осанкой.

Удивляюсь его пронизательности и чуть не отвечаю «так точно».

— Только у нас так говорят, — продолжает он, чем до основания разрушает миф о крепко усвоенных мною местных ухватках. Как видно, на уровне звуков та же Марлена преуспела куда больше моего.

— Андрей Егорыч, — представляется он, — дослуживаю вот здесь.

Я давно уже не видел земляков, хочу услышать новости и с радостью поддерживаю разговор. Но Егорыч не был на родине лет двадцать пять, и все новости передаю ему я. Через пять минут мы уже совершенно знакомы, а ещё через десять обещаем увидиться где-нибудь там. Но это, конечно, иллюзия. Только здесь кажется, что земляков немного и любой человек, когда-либо живший в промежутке от Читы до Тобольска — земляк. Да и Городок только по названию невелик, так что встретить там знакомого по дальним краям земляка почти невозможно.

Земляк не может наговориться. Мечтает он всё об одном — уехать домой. Но, наконец, вспоминает о заскучавшем товарище. Я снова киваю на лодочников. Андрей Егорыч уже ступает на сходни, но вновь оборачивается и напоследок жалеет о том, что на этой посудине нельзя попасть в Городок.

Вода убывает неспешно, и дел по-прежнему нет. Команды сидят в кафе или курят на палубе. Мы говорим о том о сём.

Налево, прямо над мостом, нависает громадный круизный «Berlin», откуда к нам приходят вереницы иностранных старушек. Пройти в створ моста он не может, но даже издали кажется близкой угрозой. Над его широкой трубой развеивается тоненький дым, так что весь он походит на облачённого в белое толстяка-великана с тонкой папироской в зубах.

Капитаны смотрят на эту громаду и спорят о том, сколько мостов она сможет пробить, если пойдёт напролом. Одни сходятся только на Шмидте, другие безжалостно «крушат» и Дворцовый.

С «Руслана» выходит матрос и выразительно держится за спину. Сергей Иванович, капитан «Наины», кивает на мой бушлат и советует матросу одеваться теплее. На это я добавляю, что тут и всем не худо походить в собачьем поясе. Петрович в ответ зубоскалит, что собаки в их районе куда-то исчезли. Моторист Лёха предлагает половить у него на Охте. Кем-то со стороны приплетается американская гуманная кастрация бродячих животных. Откуда ни возьмись, возникает Львович и который уже раз треплет историю о том, как в Корею его накормили псиной, так что пришлось три дня отпаиваться чистым виски. Истории растут одна из другой...

Между тем речная вода уходит. Но природа революций не чтит, и когда силы внизу не хватает, добавляют верхи. Ветры теперь заодно, и прежняя туча движется вспять. Сквозь полупрозрачную, ограждающую её белизну, проступает чернильная влага. Через минуту ливень ожигает землю. Палуба закипает. Свет меркнет, воздух мокнет, тяжелеет и вдруг, изрезанный дождём и градом в клочья, прорывается и исчезает, разметав широко в стороны свои живительные лохмотья. Похоже, что на город, на реку, на нас залпом выливают ведро. Никто не успевает даже подумать о спасении, как возникшее где-то наверху решето разрушает струю на частые и тяжёлые капли... И вот уже снова плещет светом.

Вместе с солнцем являются чайки. Птицы кружат над водой и клюют гребни волн. Они редко улетают далеко от

реки и залива. Обилие их удивляет всех, кто живёт в городе первые дни и ходит по земле. Из-за них все памятники — блондины. Они насквозь пробивают флаги, так что их приходится часто менять.

Суша — царство воронье. Их тёмно-серые хлопья вьются над тёмным золотом крыши собора. Я склонен согласиться с китайцами, что они — пришедшие за возмездием души невинно убиенных. Где, как не в Питере, это звучит так правдиво...

Поднимаюсь наверх, вижу, как под солнечной силой оживает река. Освещаемый красным Исакий словно горит изнутри, раскаляя колонный гранит своим внутренним жаром. На стены его, прежде однотонно-серые, а сейчас отмытые, меланжевые, в лучах уходящего солнца откидывают тени бронзовые ангелы-верхолазы. Их тёмные бестелесные двойники — посланцы другого мира. Они древнее и камня, и бронзы, и стен.

Ещё час — и прищуривается закат. Меж горизонтом и тучей протискивается тонкая полоска вечернего неба. Блюдо залива мелеет, и успокоенная река вновь несёт его, неизвестно куда. Но красное небо предвещает завтрашний ветер — всё ту же неумолимую силу, готовую спорить с водой.

В девять — салют, и теперь уже все хотят попасть на прогулку. Набережная запружена автобусами, так что проехать решительно невозможно. Огромные толпы у парапетов сочатся ручейками смелых одиночек, которые текут в верхнее наше кафе.

Все теплоходы, вплоть до старушки «Наины», раскуплены заранее. Раскоряченная, с удвоенным корпусом, она здорово напоминает известный памятник царю Александру. Здесь, в близком соседстве Сената, проходит даже самая наивная ложь: для иностранцев мы беззастенчиво старим «Наину» лет на сто. Ради «исторической правды» на ней установлен настоящий ревун, так что теперь и она уходит со свистом.

И в тот момент, когда на палубе стоит гам, а люди рвутся на теплоходы, с целью ли разредить толпу, или просто в урочный час, воздух начинает густеть. Сторонний запах смешивается с мазутной гарью и оттого чутся со-

вершенно флотским. Пассажиры испуганно, но порой и с наслаждением нюхают воздух. Я же чувствую себя Мефистофелем, который способен на все чудеса, кроме одного — отбить от себя дьявольский смрад.

Мало кто понимает, что за субстанция пропитывает воздух. Её не в силах развеять никакой бриз, ведь источник рядом: звонкое зловоние идёт от кормы «Руслана», на котором, под сомнительным покровом белой ночи опустошают фекальный отсек. Когда знаешь об этом, смердит особенно сильно. Вот и флотские морщат носы. Как видно, романтика давно покинула мореплавателей. Из-за этого готовое отречься от носа тело стремится на сушу. Почему-то хочется думать, что к поездам такой запах не примешивается и они пахнут только железной дорогой.

*

Официальные питерские салюты — чистое надувательство. В девять часов, когда в Москве уже темно, в Питере, даже в мае, только лёгкие сумерки. И бледные, как соевая колбаса, искры едва отличаются от лучей, которыми накрывает землю заходящее солнце. Должно быть, салюты эти придуманы для ушей, так что никто не скажет, что на Руси не заботятся о слепых.

Каждый вечер ближе к полуночи река раскрашивается огнями мостов. Во дворцах зажигаются окна. Над Невой гремит, как в салтановом царстве, и в воздух взлетают букеты из звёзд. Апофеозы ли они именин или ещё каких-нибудь неизвестных праздников, но если считать эти салюты, можно думать о них, как о всеобщем достатке.

День закончен, но домой не спешу — «Чайка» идёт в форт «Александр». Я давно хочу посмотреть на форты и всё никак не нахожу времени. Долго пью чай. Кафе битком — все ждут теплохода. За стойкой о чём-то спорит компания. Выхожу под разъяснение бармена: «Теплоход отходит в полтора часа ночи». Компания вываливается за мной. Парни на взводе, и вот уже слышится плюха. Отхожу в сторону и неторопливо звоню охране. Через пять минут парни, вяло сопротивляясь, выходят на берег.

Подходит «Чайка». Она светится с ног до головы. Внутри и снаружи бушует музыка. Здесь уже никого не надо

усаживать. Всё, как в трамвае: билет пополам и «проходите». Сверху машет капитан Василий Степаныч: «Давай в рубку». На корме — не протолкнуться. И если бы не фуражка, путь в шесть ступеней и тридцать шагов основательно бы затянулся.

Степанычу под шестьдесят, но работать ему ещё долго. Здесь, в рубке кажется, что теплоход он ведёт как-то даже небрежно. Но по тому, что он никогда не заходит к причалу дважды, не мусолит кранцы*, не бьёт, не корёжит борта, понимаешь, что беспечность эта — внешний знак мастерства.

Капитанская рубка в представлении многих — целый музей: секстан, угломер, карты, часы и штурвал. Но теплоход — не паноптикум. Здесь всё — преодоление традиций, и штурвала здесь нет. Старинный и видом, и сутью, похожий на лучистое солнце, он давно стал украшением кабаков и сохранил сам себя только на маленьких лодках — тех самых «марусях», что как благодати ждут высокой воды.

Движок прорывает завесу музыки, но потом сливается с нею. Выйти в залив по Большой Неве почему-то нельзя. И все, кто стремятся туда, должны обойти острова стороной. Теплоход наддаёт и идёт против течения к «стрелке».

Весь Питер стоит на Неве, и потому на выходе к морю — пустыри и каменистые пляжи. Васильевский —

* Кранцы — это автомобильные шины, которые служат тому, чтобы борта судна не повредились при швартовке. «Предохранители» эти привешивают к бортам кораблей на цепях. Своей формой они похожи на иллюминаторы или спасательные круги, что добавляет особого «морского» колорита. Больше всего кранцев на портовых буксирах. Их борта обвешаны шинами сплошь, отчего они напоминают невиданные многоколёсные автомобили. Оно и понятно, — буксир должен крутиться за троих. К тому же вода — не дорога, здесь требуется двойная устойчивость. Говорят, за границей есть специальные надувные или пробковые кранцы. Они выделяются «спасательным» оранжевым цветом. В случае крушения они даже поддерживают небольшие корабли на плаву. Чёрный цвет наших, напротив, символизирует траур — на шине далеко не уплывёшь. Потому, может быть, когда скрежет железа смешивается с резиновым визгом, молодые капитаны и произносят слово «крандец».

за кормой. Залив, конечно, не море. Мелководье его таково, что пройти по нему без лоцмана, как без поллитры. Дно его, говорят, кладбище морских неудач. Где-то внизу, под палубной дрожью лежат груды металла, который не одолеть никаким пионерам. Так что морским городом Питер зовут, как видно, по той же причине, по которой с вполне сухопутного места сорвался «Berlin».

Медленно, почти незаметно пригибается, оседает в воду Васильевский остров. Кронштадт слабо светит огнями. Где-то слева и справа — форты — эти кирпично-железные шишки, что строились для защиты, но пригодились только для кино. А впереди, за горизонтом, лежит низменная мечта всех халявщиков северо-запада — Финляндия, старинная «чёртова сторонушка».

Сразу за дверью рубки — бесконечно-одинаковая мешанина звуков. Однообразными круговыми движениями она будто втирает в уши заговор вуду. Там, внизу, мечется диск-жокей, кричат друг другу в уши танцоры и степенно ходят продавцы «кислоты». Здесь — их легальная жизнь: киношной облавы ожидать не приходится даже на фортах.

Очередь в галюн до утра. Надеваю фуражку и оранжевый жилет. Он — билет, чтобы справить нужду.

Странен отдых, от которого некуда деться. Степаныч кивает на спальник. Ложусь на скамью и закрываюсь с головой... Тишина.

*

Рёв двигателя раздёргал и выкинул сон. Сквозь стекло слабо брезжит ещё далёкий рассвет. Мы уже отошли. Я так и не смог увидеть старого форта. С кормы вглядываюсь в полумглу. От усилий она начинает рябить и будто складывается в тяжёлую кирпичную кладку. Но это обман.

Музыка будто устала и пульсирует тише. Устало-беспольные люди словно уменьшились. Теперь больше места и ходить можно спокойно. Я стою на корме. Здесь, вдали от огней, в плотном вишнёвом небе лопаются яркие августовские звёзды, и осколки их, шурша и переливаясь огнём, тают в плесках моря. Разгорается рассвет. Воздух

спокоен, и только движение корабля порождает подобие ветра. Флаг чуть колышется. Этот осуществлённый ветер сквозит посредине дырой.

Кто-то подходит, стоит, говорит сам с собой: «Странно, пил водку, а отрыгается коньяком. И жрать совершенно не хочется. Хаарашо!».

Снова Нева: мост за мостом — стрелка — причал...

Как вечер пятницы ещё похож на будни, так утро субботы похоже на ночь: недавние гуляки бредут себе куда-то, полусонно озираясь вдруг и снова цепко глядя под нетвёрдые ноги. Поливальщики асфальта уехали, и тротуар подсыхает. Медленно подкатывает пустой трамвайный вагон. В нём никого ещё нет, кроме меня и кондуктора, что клюёт носом у себя на насесте. Редкие огоньки в окнах проезжающих мимо домов только подчёркивают всеобщее небытие.

Пустой и сонный город куда привлекательней дневно-го. Он не нуждается в людях. На фоне очертаний домов, высоких гранитных цоколей они мельтешат и смущают глаз. Город, как коммуналка, хорош, пока пуст. Он — подобие отдельной квартиры — те же длинные коридоры проспектов, суета днём и прелесть безлюдного утра.

Домá ещё только зевают, и к редким ночным огонькам прибавляют другие — малочисленные, окрашенные внутренним жёлтым светом окна.

Из трамвая становятся заметны все те особенные морщины и черты города, которые и отличают новое лицо его от других, бывших вчера и прежде. Вот молот под крылом серпа, похожий на пионера, повернувшегося к зрителю задом, дальше дом с поставленными на окна карнизами, так что весь он будто стоит на голове.

Проехать можно не всюду — в последнее время трамвай вымирает целыми кварталами. Трамвая жаль. Этот «резиновый» транспорт почти не знает препятствий. Из окон его можно только сочувственно наблюдать, как люди выламываются из метро и растекаются ручьями по сухим руслам улиц, сливаются в озёрки остановок и выпитываются в губки автобусов и такси, оставляющих длинные хвосты очередей. Но сейчас город пуст. Схожу — и бреду просветлёнными улицами по окраинам бодрости и сна.

Уличные неопрятные звуки будят день. Развратные ночные витрины блёкнут с рассветом почти до советской пустынной скромности. Прелесть тёмных стен сменяется коростами окрашенной штукатурки.

Кто пишет на стенах, не знаю. Как и сочинители анекдотов, они — невидимки. Преобладают англомамы. Я зову их *факельщиками*. Не потому, что они коптят стены, а по излюбленному словечку последних лет. В этом приоткрывается даже тайна различий языков — что напишут, так и назовут. Патриоты встречаются реже. Зато русские надписи иногда полезны. Вот, к примеру: «Крепитесь, туалет на Никольской». И прохожий театрал, безнадежно глядевший во мрак подворотен, благословляет эту руку и, исполнившись остатками терпения, мчится вперёд.

В надписях много загадочного. На автобусной остановке строгое: «Не поганьте остановку! Корсунов». Ниже совсем уже непонятное: «Рыдало».

Памятные места — особенный жанр. Эти украшаются паломниками. Достоевскому посвящаются множественные заклинания. Не автору, но герою. Парадная в Столярном переулке пестрит жалобами, просьбами, словами преданности и любви. Как часто обрывали нас на школярском: «Автор хотел сказать». «Он сказал, уже сказал!» — грозил преподаватель, для убедительности тыча пальцем вверх. Но обаяние науки я давно растерял и верю только глазам: «Родя, замочи мою соседку», «Родя, я тебя хочу», «Родя — наше всё»...

На углу — синяя уличная табличка. В ней — суть знаменитой «топорной» книги: примерился автор, прикинул герой. Будь переулок Цирюльным, старух бы зарезали бритвой.

Дальше Фонтанка — пародия на Неву. Вместо Академии художеств — Гознак. Когда-то здесь печатали красивые деньги, а сейчас делают только бумагу. Сюда пришли, а затем размножились и смешались с местным населением перенесённые от Академии загадочные свиноподобные уродцы. Перелицованных сфинксов, похожих на «настоящих арийцев», здесь уже целых четыре.

Египетский мост, который они охраняют, ровно ничем не знаменит. Он — только тётка предшественника, натя-

нувший остатки прежних регалий. Настоящий, поверженный стуком конно-гвардейских копыт, попал в школьные учебники, а затем и в военный устав. Так что если прежде запрещалось идти не в ногу, то теперь идти не в ногу можно лишь по приказу. Вот только следовать ему, если воин один, ещё труднее, чем аплодировать только правой рукой, хотя, говорят, волшебное слово приказа способно рождать чудеса.

*

Август будто поменялся с маем. Задожидло, похолодало, так что и душа словно озябла. Бесконечный кофе, безделье, тоска.

Чтобы не сидеть даром, я купил тетрадку и стал записывать всё случайное. Поначалу дело двигалось медленно, потом я увлёкся, исписал всю, но сохранилась лишь пара страниц.

«Если жить в Питере, то непременно в центре. Впрочем, окраины меня не приняли с самого начала. И вот я кочую в пределах одного района, неуживчиво меняя места.

Нынешняя моя коммуналка — приёмная большого вельможи, прежнего владельца дома. Комната в два окна — бывшие сени, заставлена помоечным шкафом, диваном и овальным столом. Волна по паркету — память наводнения какого-то года.

Коридор и грязная кухня — бывший холл.

Соседки: Машка — родная сестра и тёзка флотской швабре, и тихо-стервозная Ксюха. С ними я приветливо молчалив, они же молчаливы недружелюбно.

Все жильцы на виду... Хмурый Машкин хахаль является редко. Пути его следования преобразуют и украшают — моется стол, поливаются цветы, а воздух наполняется плотным ароматом вождения. День визита хорош для всех: Машка здороваётся и печёт пироги. Недостаток — оккупация ванной.

Ксюха перед уходом всякий раз ворожит на картах — колода всегда торчит из кармана пальто.

Машкину дочку, семнадцатилетнюю рыжую Аньку, голоса в телефоне зовут Виолеттой. Она кокетничает со

мною странным способом — пренебрегает туалетным ёршиком...

Ксюхин сын Вадик — своеобразен по-своему. Сперва он испуганно здоровался при каждой встрече, пока я не пригрозил набить ему морду. В отместку он стал петь под магнитофон.

Соседские нервы ни к чёрту. Юные негодяи доводят своих истеричных предков до исступления и тем же, чем меня, и чем-то другим, потайным, чего мне никогда не узнать через стену. Коммунальная жизнь, как возня вурдалаков в братской могиле. Старшие не уступают младшим и сводят счёты друг с другом.

Но коммуналка — и школа демократии. Произвол невозможен. Упаси Бог сделать что-то без спросу, даже если ты здесь не на птичьих правах. Благие намерения лучше всего оставлять при себе.

На межсоседские свары, на всю эту жизнь смотрю удивлённо: мои соседи не живут, а переживают в самом временном смысле, словно надеются в возмещение убогого своего здешнего получить нечто блестящее тамошнее...

Чтобы не искушать, готовлю на плитке. В кухне беру только воду, а посуду мою ночью.

В ванную дверь из кухни. Стоит пойти, как Машка морщит губы, а по спине её пробегает сутулое недовольство.

Причин для плохого настроения всегда хоть отбавляй, хорошее — и причина, и следствие вместе. Сперва я пытался навести мосты, но все мои поползновения окончились желанием повесить на меня общее бремя застарелых коммунальных долгов. Я не согласился, и отношения испортились навсегда. Так что теперь я только придерживаюсь нейтралитета. Войны нет, но нет и мира. Только мои дипломатические ухищрения ещё позволяют мне здесь находиться. Но знаю и то, что стоит мне раз оступить и... Я — как сапёр на чужом и усеянном минами поле.

Как разумно, что есть ночь. Она прогоняет суету, обостряет чувства, лечит нервы. Ночью человек спокоен и прост. В нём нет ни кокетства, ни спеси. Ночью не врут, не лукавят, не норовят нахамить — этот апогей продавецкого счастья мало изменился в нашем районе...

Заплёванный день, наконец, тухнет и наступает желанное спокойствие. Спят все — и довольные, и недовольные. Потому что так надо. И я тоже сплю.

Утро. Тишина. Я ещё не проснулся и пытаюсь ухватить недавний сон. Помню, что чувствовал себя птицей и целился во флаг. Натянутое, как барабан, полотно приближалось, так что можно было уже различить стежки по краям. Я ударялся о тряпку всей силой, отскакивал прочь и вновь набирал высоту — обычный сон после долгой работы».

*

Мало-помалу эти зарисовки стали принимать черты воспоминаний, будто записывал я не то, что видел, а то, что припоминал. Всё вокруг стало разваливаться на куски и бесконечно дробиться, так что остановилось движение и каждый жест занял свой кадр, а потом и вовсе в каждом окошке можно уже было увидеть только отдельно руку, ногу ли, колесо, солнечный луч... Питер стал казаться будто сложенным из ледениц — тех сквозящих дырявым узором тонких ледяных корочек, что лежат на подтаявших под мартовским солнцем сугробах: одно прикосновение, и всё рушится и тонко звенит.

*

Что привело меня к мысли об отъезде, не знаю, то ли слова земляка, то ли бесконечный день, а то ли общая усталость, что накопилась за годы. Вот и сны о флагах наводили другие, не связанные с флагами мысли. Которое уже утро возникало чувство, будто встреча с земляком двинула мои мысли по его следу, так что уже больше недели я неотступно думал об отъезде. Всё надоело. Восемь лет, проведённые в Питере, теперь были похожи на школьный треугольник с длинной гипотенузой. Я будто дошёл до вершины и балансировал там, где некуда поставить ногу. И теперь — либо падать, либо съехать назад.

Человеку свойственно искать лёгкие пути и сложные оправдания им. Я думал о том, что за эти годы что-то увидел, но ничего не добился. Но нужно ли было тратить половину сознательной жизни, чтобы пройти по музеям,

пожить в коммуналках и тем приобщиться к некоей общей мечте?! Я не решился, а будто бы оступился. В этом не было ничего удивительного. Не протирать же штаны, сползая пологим путём?!

Я был одним из множества тех, что когда-то приехали, до сих пор куда-то зачем-то неслись, уже давно потевряв всякие цели. Кажется странным, куда и для чего едут люди в чужие страны? Ведь если даже здесь, на родине, среди своего языка, где тебя понимают, ты чувствуешь отчуждение, то как же там? Да что говорить про «там»? Вот, я в городе, о котором мечтал. Но именно здесь и сейчас я сильнее всего чувствую себя инородным телом. Я молод, но и юность уже миновала. А ведь когда кончается детство, остальная жизнь — только попытка исполнить его мечты. Но теперь, когда судьба мечет мне остатки того, что недоделано, недосмотрено, недочитано, недоломано, — это кажется только блажью. Уже нет тех запахов, того цвета и света. Навсегда уплыли те облака. И, главное, пропал тот волшебный бессмысленный смысл, в котором всё хорошо потому, что есть. Я будто разорвал цепь, которая должна связывать оба конца — остальную жизнь с ее божественным началом. Мой зыбкий ум уже не в силах постичь той простоты, которая подвластна упругому детскому воображению. Я только помню те свои чувства, но уже не владею ими. Я похож на автора словаря атеиста, который одновременно и знает, и не верит.

Вижу, как просвечивает сквозь моё тридцатилетнее небытие тень кого-то, кто совсем не похож на меня нынешнего. И чуть тронешь не то, и этот маленький и плотный **я** вдруг искажается и исчезает. Теснятся предметы, и вычленишь что-то, вызволить себя уже невозможно. Всё уродливо, странно, тоскливо.

Как, почему я уехал? Мысль эта уже не оставляла меня. Я всё время возвращался к ней и прокручивал в памяти забытые знойные кадры: испуганное лицо матери, укоризненный взгляд отца, насмешливый — брата, мою нерешительность, сомнения, и возрастающее чувство необходимости, которое всё сильнее вовлекало меня в дорогу.

Что было причиной? Что взорвало мою жизнь подобно тому, как тёплый украдчивый шквал одним махом срывает целую крышу?

Я хорошо помнил те образы счастья, которые рисовало мне моё воображение. Я бредил дальними странами. Провинция звучала в голове как проступок, от которого почти невозможно отмыться. Но куда, в какой Прованс я стремился? Встреч с какими трубадурами ждал? Всё это было там, откуда бежал, только куда необъятней.

Счастье совместилось в моей голове с дальней дорогой. Я погнался за ним. К тому же оно совместилось с тем, детским... Когда я только попал в Питер, мир как бы сгустился вокруг меня. А теперь я потерял возможность держаться и стал падать.

Однажды я сел в трамвай и поехал на Турухтанные острова. И что же? Никаких островов не оказалось. Их не было, так же как не было их и на карте. А была только разбитая улица с трамвайным кольцом на маленьком выступе берега*. Да что острова?! Не было уже ни реки Таракановки, ни сказочных невских буянов. Да и были некогда те буяны простыми каменными глыбами для разгрузки разных, потребных этому городу припасов. Зима начисто убивала понятие островов, и они срастались с берегами. Так что от сказки оставался один только царь Салтан.

Бывают в жизни заведомо бессмысленные решения. Они, как бракованная вещица. Захочешь, к примеру, начать с понедельника новую жизнь и завязать с «сомнительным прошлым», всё об этом передумаешь, даже решишь каждое утро бегать или делать гимнастику, об-

* В каждом городе есть какие-нибудь особенные улицы. Выглядят они точно, как другие, и сказать об их подлинной сути может лишь название, в котором что-то «не так». Дорога на Турухтанные острова в Питере — лишь один из многочисленных примеров. При внимательном взгляде на карту города, именно она способна привлечь внимания больше, чем все Невские, Нарвские и Нервские проспекты. Больше других она увлекает фантазию своим особенным, воздушным звучанием, в котором возникает красивая смесь турухтана — этого всеобщего вида кулика и далёкого Туруханского края. Особенно сближает эти далёкие пункты преобразование в истории: Туруханский край давно стал районом, а Дорога на Турухтанные острова никуда не ведёт.

ливаться и обтираться. Вначале бодро получается. До среды... И в среду ещё бежишь, но водичку уже хочется сделать потеплее. В четверг не работает душ. А к субботе от красивой идеи остаётся только грустная память. Так и с отъездом.

Начало сентября. Работа оставлена, собраны вещи. А я всё сидел и не решался пойти на вокзал.

Поменять что-то так вот круто бывает даже страшно-вато. И хотя никакая благодать меня здесь не держала, я всё чего-то боялся. Может быть, потому я, подобно скучным иностранцам, и доживал всё, за что заплатил?

До отъезда — неделя. Мне было не по себе оттого, что приходится вот так всё бросать: немногих, но хороших друзей, привычное уже обустройство. Как бывшая возлюбленная, город ещё привычно пытался завлечь меня той своей внешностью, от которой без оглядки бежала душа.

*

Несколько лет я менял комнаты, метался из коммуналки в коммуналку и вынес оттуда главную истину: если часто переезжаешь, то лучше всего быть богатым духовно. Теперь вещи разделились на две неравные части. Одни были необходимы для жизни, другие — теми азартными безделушками, которые обесцениваются сразу после покупки. Они неизбежно скапливаются за годы и хранятся вечно без всякого грифа. Там, куда я ехал, у меня не было ничего, кроме таких же «вечных», почти детских вещей. Живы они или нет? Это не важно, ведь не к ним, а к месту, где некогда они были оставлены «навсегда», я теперь возвращался. Чемодан с этим хламом я поручил друзьям, сдал комнату и налегке, с небольшим рюкзаком, отправился в путь.

В КОЛЬЦЕ

На золотом крыльце сидели:
царь, царевич,
король, королевич,
сапожник, портной,
кто ты будешь такой?

Считалка

Недели за две до отъезда у меня вдруг возникла мысль получше осмотреть окрестности. За последние годы я ездил только в сторону Пскова, а посмотреть хотелось пошире, тем более, что на родине никаких архитектурных древностей нет, отчего, поначалу, и Питер казался почти древним Римом. Но и это было не главным. Как-то ненароком вспомнилось, что предки мои за сто почти лет до того ушли в Сибирь из-под какого-то Божеца, который я едва нашёл на карте.

Когда-то давно я ездил в Москву автостопом. Но это были те далёкие времена, когда деньги на трассе шофёры не брали и попутчики просто охраняли их от сна за рулём. С тех пор многое изменилось, но я решил пойти старым путём.

Историческая родина — маленькая точка на карте Центральной России — находилась в подозрительной пустоте. Сплошь засеянная городками и сёлами местность, была здесь будто прорежена, так что сёла не становились улицами одного огромного захолустья, а стояли совершенно раздельно. Эта пустота занимала меня как-то особенно, подобно тому, как может заинтересовать холм, одиноко стоящий в совершенно плоской степи. За последние дни мечта эта обросла подробностями, прочертился маршрут, и окончательно столкнула меня с места именно эта идея.

*

За сборами я забыл минералку и опомнился только на выходе из города, где проспект поворачивает к сто-

лице. Искать магазин было поздно, и я пошёл вперёд, так что скоро набрёл на кафешку с пивом и столиком, купил воды и присел в ожидании попутки. Тут и подкатила старенькая вишнёвая «Вольва» из которой вприсядку вылез высокий плотный мужик лет тридцати пяти в спортивных штанах и той шапке, которую англичане, до сих пор поминая севастопольскую осаду, зовут «баллаклавой». У нас же, совершенно позабыв обо всём, её нарекают так, как не принято называть печатным словом, что, впрочем, точно определяет её членоголовое и бесплодное содержимое. Познакомившись с ним поближе, я нашёл и подтверждение: твёрдо уверенный в своих истинах, этот тип совершенно не воспринимал другой правды. Так что, если б не импортный номер, я бы принял его за бандита.

Звали иностранца Рокас Стонкус. Он уселся напротив, выложил на столик булыжные кулаки, открыл пачку Davidoff и предложил мне. Знакомство завязалось.

Я кивнул на дорогую пачку и сказал: «Странное дело, все кому ни лень ругают Россию, а при этом многие дорогие марки здешнего происхождения».

«Ничего удивительного, — отвечал он с лёгким прибалтийским акцентом, который я усвоил из анекдотов, — у вас богатая страна, и когда-то, наверное, всё было иначе». Мы разговорились, я узнал, что он из Литвы, некогда служил в Ленинграде, не был здесь много лет и теперь хотел на всё посмотреть другими глазами.

Не сказать, чтобы он был большим экстремалом. Но то, что вместо вожденной Гаваны он отправился в Россию, говорило о нём, как о человеке, по меньшей мере, неожиданном. Происходил он из Жемайтии — той обширной части Литвы, что расположена к северо-востоку от Каунаса и простирается до самого моря. Когда-то эту область сплошь населяли рыбаки, славные упрямством нрава и молчаливостью, так что в Большой Литве до сих пор считают, что они говорят на другом языке. Кроме всего, жмудяне гордятся особым способом ловли угрей и своими фиктивными паспортами. Рокас отступился от традиций, жил в столице и крутился в бизнесе.

Собрался он основательно. В багажник его престарелой, но ещё бодрой «Вольвы» легли: палатка, два спальных мешка, ящик продуктов и фильтр для воды.

Он рассказал, что хочет найти литовский след в российской истории. После этих слов я тяжело задумался и, прихлёбывая пиво, стал вспоминать. Беда в том, что осведомлённость Рокаса простиралась в своих крайних пределах лишь до Питера, который, как писал знаменитый поэт *Мицкявичус*, построил сатана, за что, видно, «мефистофель» и высек поэтов бюст прямо среди своих владений. Мне же на память приходили только князь Ягайло не то Ягелло, то ли ходивший на Русь с мечом, то ли бывший с нами в союзе, тот самый поэт, известный ещё своей стихотворной склокой с Пушкиным, да композитор Чюрлёнис, чей дух был вызван из небытия каким-то японским эстетом лет сорок назад.

Понять мои затруднения можно, так как я отродясь не различал прибалтов, и всю сознательную жизнь путал эстонцев с латышами, латышей с литовцами, а Вильнюс с Ригой, помещая Ригу в Эстонию, а Таллин в Литву. И в этом я не одинок. У нас, говорят, прежде и Париж объявляли столицей пятой республики, смущаясь только что слишком легкомысленным звучанием. Да ничего, Белибердан ведь наш, чем же Париж не по-русски звучит, а то и Рим...

Наконец я вспомнил о непечатном проклятии царём Иваном наперсника Курбского, убийстве царевича, Смуте и польско-литовском нашествии. Рокас искал попутчика и так усердно смущал меня заманчивым путешествием, что я решился отодвинуть прежние планы и проехать дорогами самозванцев по Золотому кольцу, а уж затем повернуть на юг. Мы сели в машину и покатали в сторону Москвы.

*

Как водится, поначалу всё шло хорошо. Мы весело мчались вперёд, обменивались шутками, анекдотами, случаями и рьяно расспрашивали друг друга о переменах. Но только до тех пор, покуда естественным образом не вторглись в общее прошлое, из которого, по словам Рокаса, свободолюбивая его родина вырвалась ценой большой крови и нечеловеческих усилий. Я отчётливо

помнил эту телекровку начала девяностых и сочувственно помалкивал.

Не знаю наверняка, точно ли благовоспитанное молчание воспринимается как слабость или, быть может, сама тема так сильно подвигает на удальство, только мой спутник вдруг закипел. Впрочем, это случилось не сразу. Пока же всё шло хорошо. Он оказался отличным собеседником и по-русски говорил совершенно правильно, если б не лёгкий акцент, который удивительным образом пропадал, стоило только прищуриться на него пронизательной музейной старушке.

*

Летопись нашей поездки скупа и, если не передавать моих впечатлений, то лишь некоторые события накрепко осели в памяти — иные в красном углу, большинство в помойном ведре.

Мы проехали через Новгород, сквозь весёлую картинку Торжка, святость Троицкой Лавры, пыльную древность Ростова, вечерний предгрозовой Суздаль...

В Новгороде поглазели на Софию, походили по высоким музейным избам, где каждый раз Рокас только удивлялся на старинную «топорную» работу, оглаживая блестящие брёвна: широта, размер, добротность. Очевидно, всё, на что он смотрел, было ему в диковинку. В нём видимо боролись разные чувства — недоверчивое восхищение и восторженная неприязнь.

Всю дорогу, куда б мы ни ехали, нас встречали редкие белые колокольни с золотыми, серебряными, синими и зелёными куполами. Их хорошо было видно с дороги. Они вздымались вдруг и безошибочно ловили наш взгляд. Я невольно стал думать над порядком их размещения. Он не был очевиден, как не было понятным это древнее строительство в местах пустынных, необитаемых, где только изредка, может, проходил стороною крестьянин. Но кто знает, быть может, здесь были города или сёла, да исчезли так же, как сгнули тысячи их, так что сейчас уже и сказать нельзя, мол, будешь мимо, заезжай в Мологу. Иногда они оживали, и мы слушали колокольный звон, который будил странные чувства. Я ещё не привык к мысли, что еду

домой, и потому от этого на минуту хотелось стать кем-то вроде кампанолога — исследователя колоколов, или обучиться ещё какой-нибудь замечательной, но незаметной профессии и остаться здесь навсегда.

С какого момента мы стали смотреть в разные стороны? Я любовался на природу и древности, он негодовал на развалины и помойки, будто глядел змеиными глазами французского маркиза.

Впрочем, сомнение стало подкрадываться ко мне раньше, чем последовал явный раздор.

«Знаешь, за что мне моя страна нравится, — говорил Рокас, — у нас из конца в конец за три часа проехать можно. Удобно. А у вас лететь — десять часов, ехать — десять дней, будто вы не такие же люди, как все прочие, а великаны, только измельчали как-то». И он снисходительно смотрел на меня сверху вниз.

Прав, нет, тысячу раз прав был Рокас. И чем дальше мы ехали, тем всё больше я убеждался в его правоте. Здесь, в этих обширных полях со свечами колоколен, поставленных перед Богом напрямую, всё, казалось, было построено для них — великанов. И остатки их величавого быта не имели для меня никакого смысла, кроме того, что вот вроде всё это здесь, на моей земле, и я могу похвалиться этим перед Рокасом. Невольно я чувствовал себя пришельцем-бедуином на фоне пирамид. А всё то маленькое, соразмерное, человеческое, что я видел на его фотографиях, что было продумано и удобно, что не давило тебя и не гнушалось тобой, казалось более верным, надёжным, живым. Только куда же делись те, кто пользовался всеми этими исполинскими вещами? Почему мы, такие маленькие и слабые, заняли их для себя? Как это могло получиться? Зачем нам всё это — с чем мы не хотим и не можем справиться? Какая злая судьба закинула нас сюда? Откуда явились мы сами и куда подевались хозяева? Мы будто влезли в чужие, на сто размеров большие штаны, где тебе одному места с избытком хватает в гультфике или в кармане.

То, что это «великанское» прошлое — не иллюзия, как это бывает в детстве, где всё окружающее кажется большим, чем есть, или по прошествии времени, когда од-

нажды поразившее, при возвращении и похвальбе чужим глазам, предстаёт вдруг печально невзрачным, было ясно уже в новгородской Софии при взгляде в глубокие ямы, на дне которых укрывались плиты того — *настоящего* пола, словно за тысячу лет так и не удосужились подмести. Или это стремление на собственном навозе достичь неба, пробиться под самый купол, где среди облаков летал могучий Христос, чтобы уж сразу при входе подавать Ему руку? Но стоило отвернуться от ямы и закинуть голову, как становилось ясно, что Он так же далёк, как и тогда, но ещё более недостижим. И эта странная идея казалась теперь ещё более непостижимой, если не считать всё же, что те, *настоящие*, были другого размера, которым нынешняя Литва показалась бы морковной грядкой на краю обширной дачной усадьбы.

Снаружи бросалась в лицо кривизна древней штукатурки — следы рук мастеров. Они гладили её ладонями так же, как ласкают красивое тело. И это вновь противоречило внутреннему, переделанному давно по линейке — этому самому нерусскому изо всех инструментов. Только какое-то злое недоразумение делало её своего рода «русским богом», к которому давно и безуспешно стремится сознание нашего человека. Своими рисками она, должно быть, представляется нам лестницей, по которой можно взобраться на небо. Но небо не то, где Христос, а другое, заманчивое своими рукотворными формами с непорочными дорогами, удивительной стройности мебелью, лазурной чистоты водой. И не понимаем мы, что по линейке на небо не влезешь, ведь «ступеньки» на ней лишь нарисованы, так что легко съехать вниз и всё так же глядеть на то, чего невозможно достичь. Потому и остаётся нам Иисус без Христа.

То же было, когда мы, задрвав головы на громадные стены, стояли на булыжной площади перед Троицкой лаврой.

Рокас всматривался в стены и щёлкал камерой, а потом сказал: «Может, тут какой-нибудь мой прадедушка вот так же стоял».

«Может быть», — рассеянно отвечал я, вдруг подумав, что мне это и в голову не пришло. Даже и мысли

не мелькнуло, потому что не было, не было тут никакого прадедушки! Не лил он на ляшские головы смолы, не смахивал долой шапку в храме, не делал отчаянных вылазок, не дразнил со стен супостата. Но как? Почему? Ведь даже этот новоявленный иностранец может похвастаться тем, что кто-то близкий давил каблуком эти камни. И в нём вот сказалось это через века. А во мне нет. И при том я усердно защищаю от него то, что, может быть, мне и не принадлежит.

Мы направились внутрь. Шла служба. И опять меня хватило только на то, чтобы снять фуражку на входе.

Навстречу вышел монах.

— Немцы? — спросил он нас строго.

— Ну, э, — уклончиво отвечали мы.

— Немцы, — утвердительно кивнул он и многозначительно добавил, — ну, ну...

*

Здесь, у этих стен, я вдруг снова отчётливо понял, что воспринимаю только внешность и никак не могу найти в себе отголоски настоящего чувства. Нет, конечно, в расставленных по холмам колокольнях, церквах, в корявой мощи их стен и узоров я находил восхитительно близкую мне соразмерность. Порой мною овладевало даже нечто вроде неуверенной религиозности и словно током пронзал странный волнующий зуд, охватывая почему-то одну только заднюю половину, от макушки до пят, будто видел я одним, а чуял другим. Но стоило войти в церковные двери, как я чувствовал себя чужаком, зашедшим не благодаря, а вопреки, так что всё это «благолепие» было мне свято только до порога, за которым я казался себе праздным туристом — тем самым немцем, тень которого набросил на меня Рокас.

*

После Лавры разговор пошёл в одни ворота. Рокас стал потчевать меня армейскими байками. Поддержать его я не мог и от этого снова чувствовал себя неудобно. Даже он — законный теперь иностранец — служил, а я нет.

Армия всегда была моим слабым местом. Она мне нужна была не затем, чтобы с кем-то сходиться на «общем». Это была внутренняя, коренная потребность, подобная неуютному чувству нерожавшей бабы. Что греха таить, Рокас смог разжечь во мне чувство неполноценности.

*

Со многим из того, что он говорил, я соглашался, сваливая на беспорядок, на посторонние бедствия, обходя, при этом, вопросы политические; на другое возражал.

Он рассказывал о своих путешествиях по Европе. С его слов Запад казался на редкость комфортным. Их не едят комары, симметрия их городов призывает к тишине и порядку, они совершенно довольны и законопослушны. И, несмотря на разницу лиц, исповеданий и паспортов, совершенно равны и свободны. Недаром же лишь у немногих из наших, кто отправлялся туда по собственной воле, хватало силы вернуться. Слишком уж всё там устроено и спокойно, слишком стабильно и тихо. Нет притеснений, произвола, жалоб, границ... Но странно, во всём этом было для меня что-то привлекательное, но и отталкивающее вместе.

— Чего же, по-твоему, нам не хватает? — пытался я прояснить себе его мысли.

— Умерить амбиции, уважать законы, выбрать разумных руководителей. Да просто убрать помойки. Научиться вежливости, наконец...

— Уж не у вас ли? — взвился я.

— Да хоть бы у нас, — на полном серьёзе сказал он. — Вон, шведы вас однажды уже научили...

— А теперь, значит, настало ваше время?

— Ну, — замылся он, — если и не наше, то... Возьмите себя в руки, делайте так, как все, и довольно. Вежливость, трезвость, порядок! Три года — и на улице будет полное *культуре...*

Так мы каждый раз говорили до поздней ночи. Глядя на него, я будто смотрел на себя со стороны. Даже курил он размеренно, как бы иллюстрируя манеры своей родины, я же торопливо глотал дым, жаром дыхания скручивая горячий пепел в рожок, который затем падал на пол.

Я засыпал, ворочался. В ночном беспокойстве мне представились разгуливающие по улицам господина иностранного поведения. Вот они курят в специально отведённых местах, аккуратно плюют в урны и говорят друг другу «пожалуйста-битте». Я вскидывался, шлёпал босыми ногами к крану, заливал сушняки и забывался до рассвета. А с утра меня мучила совесть. Я начинал каяться во всём, независимо от того, подлинными или мнимыми были мои проступки. В мелочах вспоминался вчерашний день, я отлистывал дальше, искал и находил в себе множество мелких и крупных пороков, копил их, едва сдерживаясь от того, чтобы высыпать на Рокаса ворох раскаяний и извинений. Мне грезился его укоризненный взгляд, провожавший мои бычки, что я швырял на обочину из окна машины, оставленная на площади пивная бутылка, белеющий в придорожных кустах пипифакс...

Рокас же просыпался совершенно просветлённым и умиротворённым, когда мозги мои уже давно стояли дыбом. Мы шли в кафе, завтракали, я цедил бутылку минералки, а он неторопливо заливал в себя литр пива и садился за руль, попутно нанизывая на меня обвинения так, словно я был шашлычной шпажкой, а он — волосатой кавказской рукой.

Во мне вдруг проснулась как бы вторая натура. Собственно, я слушал Рокаса и часто соглашался с ним, а второй, тот, кто сидел во мне, плёл и изредка подставлял мне другие ответы. Он так явственно сопротивлялся моему малодушию, столь ощутимой была его внутренняя мускулистая мысль, что меня несколько раз передёргивало, как бывает при воспоминании о лимоне.

Теперь, когда Рокас обижал, я горячился, говоря, что русские — легендарный народ, которого больше нет. О нём есть только мутные воспоминания у того сброда, кто называет себя этим именем.

— Поскреби русского — найдёшь татарина, — подначивал он.

— А какого только сброда не отыщешь теперь, — вторил я.

— Ну а ты тогда — кто?

— Я?

— Ты, ты, — травил меня он, — что, и сказать толком не можешь?

Я осекался. Всё странно, необъяснимо. Кого только не было среди моих предков: художники, имена которых остались в словаре Брокгауза и Ефрона, но чьих картин не сыскать, инженеры-путейцы, что исчезли так же, как русский Харбин, царские жандармы, которых кляли в следующих поколениях, революционеры, кого проклинали сейчас... Все они были для этой страны словно инородным телом. Кто я? И почему это меня так волнует?

*

Мы проехали уже больше тысячи километров. Но если сначала он просто подъедал меня, то в конце стал просто ругаться. Он устал, и это было понятно. Теперь Рокас ругал всё: комаров, которых, не было ни в Литве, ни во Франции, будто над ними было не небо, а марлевый полосатый колпак; автосервис, где ему не сделали скидку; пчёл, которые увязались за суздальской медовухой...

— Столько всего, — вслух завидовал он, — живи — не хочу!

— Угу, — поддакивал я, — если бы этим разумно распорядиться.

— Кто ж мешает? Америка? Призрачные татарские орды? Саратовский демон? Дульсиня Тобольская? Вы, русские, всегда жили фантазиями, а не делом. А теперь сваливаете всё на происки да на Запад. Только напрасно вы ждёте *нашей* гибели. Вам самим давно уже надо избавиться от дурацких идей о величии и начинать жить, как люди...

Конечно то, что он говорил, было во многом правдой. Иногда он почти повторял то, что смущало меня самого. Но эта правда была столь неприятна, что я отмахивался от неё, как от навета. И всё же подспудно чувствовал, что правда эта не окончательная. Что она не приговор, но в ней есть знаки того, что не всё благополучно. Что есть скрытый подвох. Вот только предъявить причину ему я не мог.

Понемногу во мне стало расти новое чувство сопричастности ко всем вокруг. Я хорошо понимал, что терпе-

нию приходит конец и, стараясь не спугнуть этого натужного спокойствия, помалкивал.

За несколько дней мы израсходовали все разговоры об общем, о себе, так что под конец нам осталось только подражаться. Кроме злости, невесть как напавшей на нас во святых местах, ничего не осталось. Драки не вышло, но разъехались мы во взаимной обиде.

*

Это случилось где-то ближе к концу, когда разноцветные маковки уже рябили в глазах, так что город назвать не берусь.

Мы подошли к храму. Рядом толпились иностранцы. *Этого* я заметил давно. Он был из тех — из красного автобуса, что, спотыкаясь, ходили по площади, задирали глаза кверху, жадно, по-жабьи, глотали воздух и щёлкали вспышками, отчего у меня каждый раз перекатывался в груди неуютный чугунный шарик. Мне казалось, что и фотокамеры их настроены так, будто бы даже этим коробкам не хватает здесь света и воздуха.

Он выделялся ростом, на голову обгонявшим окружающих, в рубашке либерального цвета, сквозь которую просвечивала выпуклая волосатая грудь, долго ходил в стороне, куриным манером заложив руки за спину, сплёвывал, а затем, оторвавшись от всех, направился ко входу, куда вслед за ним двинулась и остальная толпа.

Рокас, будто почуявший свою сопричастность, пошёл следом. Я последовал за ним.

Литовец пялился на иконостас, я рассматривал фреску. Христос смотрел непричастным взглядом в сторону. Третий опёрся на руку и разливальщика слушал вполуха. И только средний вперял в меня укоризненный взгляд, как бы допытываясь о чём-то, чего, казалось, не знал даже он.

Иностранец, до сих пор мирно озиравший стены, видимо утомился и вальяжно облокотился на оградку надгробия. Меня вдруг покоробила эта бесцеремонная наглость. Я уже собирался подойти и что-нибудь резко сказать, но меня опередили. От стены, словно прямо из фрески, отделилась высокая фигура в тёмном. Сжав кулаки, она цепко посмотрела на иностранца и реши-

тельно двинулась к нему. Тот понял, откачнулся, смялся и немедленно ступавался с толпой толстозадых сограждан. Странно, когда на выходе я ещё раз встретился с ним взглядом, он поспешил отвести глаза и заторопился к автобусу. Я поискал спугнувшего его человека, но того нигде не было видно.

Я подождал Рокаса, и мы двинулись к выходу. Грузно ударил колокол, собирая народ на вечернюю службу. Часто закрестились паломники. И опять вдоль спины проскочила искра...

*

Буря разразилась в Твери. Началось с того, что все гостиницы были переполнены или закрыты. Мы тщетно колесили по городу. Адрес нам дали, но найти его в незнакомом городе было так же непросто.

Мы долго искали эту тихую улочку, пока Рокас не вышел, и не спросил какого-то прохожего мужика о том, как проехать. И то ли мужик этот оказался тайным балтофилом, а то ли вспомнил молодость и, пожелав оказать дружелюбие, отвечал Рокасу в тон, с тем же самым акцентом. Рокас понял это как способ подразнить его, мужика не дослушал, хлопнул дверцей и поехал напропалую.

Пристанище, наконец, нашли. Пока я устраивался на ночлег, Рокас куда-то исчез и появился только через час с цветистой бутылкой в руках. В ней оказался абсент. Его я никогда не пробовал и знал о нём только по картинке с пропитой французской бабой с зелёным стаканом в руке. Рокас, будто в отместку за все прелести русской действительности, решил обставить вечер с французским намёком. Что пил знаменитый Альфонс, я не знаю, но, судя по книге, что-то очень смелое, что позволяло ему поминутно перешагивать и правду, и совесть, и такт.

Смутно мне помнится тот разговор. Начала не помню, но напоследок схватились мы на Чечне. Чтобы уж зацепить меня окончательно, он прочитал нараспев: «Грозный, который ахейнам тысячи бедствий содеял» — дескать, даже и слепой видит... А казаки штурмовали Трои...

И если мои прежние ночные порывы были внутри, то теперь вылезли наружу. На моё негодование наложилось всё: взрывы в Москве, раненый в каком-то там юрте кузен... Я закипел и сообщил ему всё, что думаю о нём, о Литве и вообще обо всём том, что расположено западнее Смоленска. Словом, обнаружил самый противоестественный шовинизм, чего не мог подозревать в себе ещё совсем недавно.

*

Так я и не узнал, что настроило Рокаса на эту поездку, и какие благословенные следы он надеялся здесь отыскать. Может, где-то *от моря до моря* и затерялась благодарность прежних времён о власти Речи Посполитой, но здесь мы её не нашли — наверное, слишком удалились от морей. Куда б мы ни приезжали, старинные доски твердили всё то же... И стены Посада, и Кострома, и весёлый Торжок... Вот и панорама древнего Суздаля смогла порадовать лишь «новостройками» семнадцатого века.

Кроме руин, они подарили нам водку, крепостное право и слово Россия, которое теперь ненавидят. А уж она началась с плохо кончивших Романовых...

Утром я проснулся один. Странное торжество охватило меня: хотя голова и стонала от укулов похмелья, я совершенно не чувствовал никаких укуров совести.

*

Долго ещё питался я тем зарядом, который получил от Рокаса. Мысли то и дело возвращались к обсужденным и так и не решённым вопросам. Я будто продолжал разговаривать с ним, только вопросы он задавал неслышно и быстро, а отвечал я долго и горячо.

Я ненавидел всех: прибалтов за лягливую ослиную душу, французов за Мажино и Москву, американцев за Аляску и Венига, немцев, что пёрли на нас при каждом удобном часе... Эти романтики всегда могли совмещать и укутывать смертные грехи в красивую бумажку. Сперва Аннэнербе — изучение наследия предков, затем поголовное истребление Эммануилов и одновременный

Готмитунс* на солдатских упряжках, а в конце затяжной Wergangenheitsbewältigung — преодоление наследия прошлого. Настороже и теперь, против нашего брата — «консулы, будьте бдительны». Оно и понятно — турбаны и скуфейки для них милее крестов.

Но те были врагами открыто и ненавидели явно. А эти, что изобильно сидели чудовищным знаком в отведённых для них закромах?!

Как звали их? Они прятались под разными именами. И впрямую их называть нельзя, подобно тому, как нельзя посмотреть на Медузу. Их часто ловили за руку, но этот убогий народец всегда умел увильнуть в последний момент, когда, казалось, судьба уже накрывала их колпаком. А она — хозяйка лохотрона — удивлялась и озадаченно заглядывала в стаканчик: как это она могла промахнуться...

Враждебно сошлись наша праздничная с их обиходной верой. Нашим мыслям они противопоставили свой умысел и научились управлять даже совестью.

Потом и помощников было хоть отбавляй. А сперва наши благородные выродки с удовольствием заразились их этим естественным свойством, видя перед собой только день новый и не подозревая о дне втором. Если б они могли только представить, чего будут стоить их торопливые мысли!..

И вот уже скачут придворные притворщики. Бурлят Бурлюки. А меж них Блок, Брик, Бакштейн — наши кирпичные поэты — с магией тухлых огней и облупленных стен. Вот оно — искусство для неискушённых — намалюем круглятины — полюбит мужик и поймёт. В детстве все криво рисуют. Будем как дети!

Рассеяли, было, думы, да они тут как тут — властители, повелители и владельцы.

Потом Николай Последний дождался судьбы Набонида и всё той же рукой. И они, не встречая преград и запретов, уже тешились так, что от нас только щепки лете-

* Надпись «Gott mit uns» — «С нами Бог» была выдавлена на алюминиевых пряжках немецких солдат. Такую пряжку среди немногих трофеев принёс с войны дед. Надпись затёрли кирпичом, чем испортили только пряжку, потому что никаких богов за ней не водилось и прежде.

ли. А мы лишь выжидали, когда же они, наконец, уберутся обратно в свои палестины.

Кто виноват? Издавна много нам было намёков: Ленинское пророчество*, ипатьевские владенья и Алексей Никифорович Ленин с калмыком на картине пугачёвских времён**...

Они кинулись к чужому пирогу совершенно по-пионерски: перемазались чужим добром по самые уши, а оставшейся свечкой подожгли дом.

И всё изменилось. В русском языке вдруг завелись не только непечатные слова, но и непечатные буквы, и целые слоги. Но если за первые, сущие в общем употреблении, можно было изредка получить по морде, то за вторые и третьи сесть как за контрреволюцию. Ибо это она — революция, а не академик Виноградов отменила их. Беда, если частная орфография следующих лет не совпадала с судебной.

Эта странная, живая до сей поры любовь к западным надписям есть результат этих усечений. Тридцать три буквы обновлённого алфавита как-то не смогли перевесить двадцать шесть букв латыни. Было что-то такое в этой странной смешной лишней ять, чего не хватало сумме всех прочих, будто она была единицей перед нулями. Да не единицей — пятёркой — как же иначе было сделать «на ять»? Изъятия начались с азбуки, перекинулись на имена вещей, а после на всё, что можно отнять. И стал Петроград — Ленингра-

* Ленинское пророчество — старинное стихотворение, возникшее в местечке Ленин в Германии. В «Пророчестве» оплакивается гибель дома Асканиев в Бранденбурге и возвышение Гогенцоллернов. Предрекается гибель и этого дома, за которой должно следовать объединение Германии и восстановление католицизма. Как водится за пророчествами, считается подделкой. Что бы ни думали об этом сами немцы, но сбылось всё, кроме католицизма, который проявился лишь наполовину в виде жертвенных рвений 1930-х годов. Намёк для России здесь лишь в названии, но по школьной традиции мы не унижаем предложений вниманием к отдельному слову.

** Памяти об этом Алексее ни в каком «Брокгаузе» не найдёшь. На картине, будто отрезанной от васнецовских «Богатырей», Алексей Никифорович договаривается о чём-то с конным, готовым скакать в несусветные дали калмыком. Что и на каком языке говорит он ему? Может, сватает за сына красотку-калмычку? Ведь потом всё сладилось именно так...

дом, оркестровая раковина — ямой, макрель — скумбрией, пармезан — «советским», анчоусы — килькой. Слова обезобразились, затянулись, и теперь снова нужно резать по швам и вынимать из них образы.

Прежняя эпоха стала вдруг видеться от этого такой отдалённой, что монета времён Цусимы казалась не менее древней, чем сестерций Траяна. И не помогла даже махорка 1914 года, однажды найденная в неприкосновенной пачке среди чердачной рухляди. Она грустно пахла пылью, будто пролежала не 70 лет, а семьсот. А Ъ только и осталась у букинистов Георгиевским крестом нашей классики.

От старого сохранились лишь физкультурный урезанный пуд да орёл с решкой, хотя ни орла, ни незапамятной решки уже нет и в помине. Разве что «Сижу за решёткой...» в школьной хрестоматии. Но и та, кажется, из тривиальных древнерусских раздумий, сперва выбиравших между ермолкой, чалмой и сверхшапкой Софии, да разделившихся задним числом на ёмко-гнусавое «втрибога душу мать», которых и продали в розницу — по рублю за штуку. Странно ещё, что они оставили название недели, уже не номинально превратившейся во всенародный саботаж и ожидание мистического освобождения каждое воскресенье!

Потом, вроде, кончилось, и опять западня. С баснословной, ещё недавно «святой» колбасой...

Но что изменилось? Что стало другим? Что постные советские речи сменились скоромной скороговоркой, а правдоподобные новости перемежаются телевизионными заклинаниями?! Что всякие демерасты* склоняют нас к тому, чтобы и мы были с ними?!

* Иностранные слова иногда удивительно ложатся на чуткое к созвучиям русское ухо. Особенно, когда на него падает отзвук первоначального смысла. При этом странно, что осмысленность часто уводит от ясности и простоты. Быть может, поэтому русская интеллигенция так превратно толкует иные, чуждые нашему духу понятия. Народ же воспринимает всё без заумных затей. Как говорится, имеющий уши да слышит, ведь сами звуки зачастую передают созвучию то пикантное свойство, когда слово наполняется новым красочным смыслом. Странно лишь, что такие слова у нас слишком часто относят к ругательствам, ведь тот же демераст не более, чем друг народа.

Престиж во главе. И дети уже сожалеют о своих и мечтают о телепапашах...

Да что говорить, если то, что мы считали удачей, что помнили и чем гордились, на деле оказалось вредом и порчей, победы обернулись поражением, рекорды стали воспоминанием, а государство с названием кишечной немочи и размером с Васильевский остров диктует волю Державе. В почёте занятия малодушные и ничтожные. Свобода совести превратилась в бессовестность. Мы готовы всё исказить, выпить, проткнуть. Все мы теперь бережём платье смолоду.

Кто помешал?! Нас погубила наивность — эта последняя заповедь, через которую сам Христос едва проскочил на небо? Обычно она невозможна. Потому соплеменники и не последовали за Ним. А мы приобрели её в характер. И пусть фантазии — пустое занятие, а затеи партсъездов — враньё, но их выдумка удалась, а потому и падение Запада неизбежно так же, как Второе Пришествие.

БАРИН

Въ лѣто 6750
не бысть ничто же.

Ипатьевская летопись

На вокзале я долго думал: куда? Легче всего было попростому добраться до Москвы, купить билет и ехать домой, ведь известно: если план нарушен, отмотать назад невозможно. К тому же, я толком не знал, откуда добраться до Божецка, так что область, куда я собирался, была похожа на Ультиматулу. Успокаивало лишь то, что ехать мне нужно было на юг, а Божецк не был островом и, тем более, краем земли. Я решил миновать Москву и тем избавиться от лишних трат и соблазна плюнуть на своё предприятие, которое по временам уже казалось мне невозможным.

В автобус я сел уже сильно после обеда и, подобно Митрофану, надеялся лишь на водителя да на случай, что выбранный мною Божецк не окажется лукавым тѣзкой тому, который был нужен.

Злая скороговорка, что владела мною с утра, куда-то ушла, и только лёгкое похмелье болезненно ёкало на ухабах, покуда мы не выехали из города. Дальше дорога пошла мягче. Было видно, что это одно из тех осторожных шоссе, которые сделаны специально, чтобы ненароком не попасть в «чёрную дыру» столицы. К тому же, по лицу шофёра можно было понять, что к столицам он равнодушен и смотрит вперёд, поглядывая в зеркала лишь для обгона.

Российские области своими размерами и неожиданными очертаниями напоминают иные сибирские районы. Так что из Твери можно попасть в Тулу или Рязань, проехав, между прочим, ещё две или пять областей. Эта странность будто прибавляет колёсам скорости, так что семьдесят на спидометре вполне могут сойти за семьсот. От этого каждый мельчайший камень, на асфальте тем более, становится булыжником.

Все эти песчинки, камешки и глыбы с разных углов безжалостно впивались в голову и, выгоняя прежнюю боль, нагоняли другую. Я даже вспомнил Рокаса и невольно пожалел его: он, наверняка, тоже страдал, тем более, что сильно торопился побыстрее пересечь нашу границу, так что плоская равнина, закиданная болезненными камнями, у него и вовсе превратилась в непроезжую горную местность.

Через два часа голова, наконец, утихла, и только мутный осадок колебался где-то в желудке, по временам поднимаясь к самому горлу.

Ещё через час с большой трассы автобус свернул влево так неожиданно, будто шофёр вспомнил о повороте в самый последний момент. Здесь сразу начались странности. Во-первых, эта неприметная дорога была на порядок лучше предыдущей. Во-вторых, почти совершенно пропали дорожные знаки, а посреди узкой двухполоски возникла жёлтая разделительная полоса, будто из Твери мы переметнулись за океан. Наконец, нас никто не обгонял, будто ещё вдвое увеличилась скорость, так что «пазик» будто летел.

Никаких достопримечательностей по сторонам не было, не считая увенчанного огромным железным шпилем кургана, что напоминал говорящую голову из пушкинской сказки.

Здесь жили будто хуторами. Я же так привык к тесноте здешней жизни, что одинокий двор среди поля даже показался признаком родины. Дома вблизи дороги и вдалеке от неё всё же стали попадаться чаще, пока не перешли в подобие улицы, на которой кончилась и гладкая дорога. Впрочем, это перевёрнутое понятие о пространстве, когда мощёная дорога ближе к городу переходит в колдобины, которые не может оставить природа, вопреки здравому смыслу, — обычный признак цивилизации и жилья.

Сквозь узкие улочки автобус продрался на площадь и остановился перед старинным, облезлым зданием, на котором висели четыре крупные буквы: «БАНЯ». Судя по добавочным вывескам, эта баня, где прежде просто мылись и парились в своё удовольствие, давно срослась с другими заведениями. Теперь здесь можно было не толь-

ко, как прежде, помыться, но и поесть, выпить, пролистать журналы, побеседовать, подписать договор и сыграть в бильярд. Или, наоборот, в кафе можно было сыграть в бильярд и помыться, или вообще помыться в бильярде. Так что простая баня превратилась в подобие клуба наслаждений, ключом к которому служила минимально необходимая сумма. Вся эта комплексная благодать называлась, как водится, «Парадиз».

Регулярность планировки старых русских городов всегда даёт приезжему понимание — куда пойти. Вокзальная площадь с баней на одной стороне предполагала на другой гостиницу. Я ещё раз оценил название бани и ожидал подвоха. Лучше бы она оставалась, как и полагается бане, старым добрым чистилищем, потому что напротив «парадизов» всегда находятся самые приятные места.

Всё именно так и случилось. В гостинице не было мест — в номерах квартировали местные жители с жёнами, детьми, собаками и всем морем звуков, которые неизменно сопровождают любое семейное житьё. Наступал вечер, идти было некуда. Я сел на диван перед вахтёром и стал ждать. Этот невольный «портъе» несколько раз пытался выселить меня с дивана, но вид мой и вернувшаяся похмельная унылость смягчили его. Он достал «мерзавчика», налил рюмочку и протянул: «поправляйтесь». От этого душа вновь залегла в полумрак, не в силах больше никуда идти. Вахтёр неожиданно разжалобился, назвал себя Сидоровым, меня голубчиком, куда-то побежал и через десять минут я уже шёл на третий этаж в облезлую комнату за баснословную сумму...

*

Мне показалось, что проснулся я от крика муэдзина. Я долго слушал заунывные вопли и не открывал глаз. Потом встал, подошёл к окну, желая увидеть посреди Божька минарет, но ничего не увидел, кроме почти мультяшного самолётника-этажерки, от которого отрывались купола прыгунов, а «муэдзин» оказался таксистом, который таким экстравагантным голосом сзывал своих клиентов.

Полчаса ходьбы — и я имел не самое лучшее представление об этом месте. Говорили, что Божецк был прежде Бежецком, потому что сюда бежали и здесь же селились. Теперь же его чаще называют «Убожецк». И не зря. Единственная гостиница, где ободрали так, что, будь это где-то в другом месте, я бы кусал себе локти, ресторан, в котором подали несъедобную кашу и, наконец, девушка, у которой я что-то спросил, сказала, что она отвечать мне не будет, поскольку «штучки» эти она знает насквозь... Словом, хуже Божецка в истории моих странствий оказалась только станция Дно, где меня подстригли так, что в Питере отказались перестригать и предложили побриться наголо.

И всё же я был вознаграждён. На удивление, рядом с заросшим зеленью огромным прудом нашёл антикварный магазинчик, где не оказалось ничего примечательного, кроме домотканого рушника и фотографии. Вернее, была это не фотография, а самый настоящий дагерротип времён Крымской кампании — тёмная металлическая пластинка с портретом николаевского унтера в знаменитой шинели, в чертах которого я уже разбирал родственные.

Наконец, я дошёл до музея, над которым, как и над всем городком, господствовала острая башня — главный и единственный «небоскрёб» этого позабытого всеми богами селенья. Там было всё то, что много раз я уже видел и прежде: крепость стен, узорчатые паркетные, высокие зеркала, лестницы и каминные. Впереди шли дети. Вела их женщина. Она что-то рассказывала, но дети слушали плохо, и от этого в полупустых помещениях стоял неприятный и нескончаемый гул.

Я вышел на улицу и стал осматриваться. Наконец экскурсия закончилась и вся шумная мелюзга с криками «Свобода! Свобода!» выскочила мне навстречу. Я выждал, а потом подошёл к даме и заговорил.

На мой вопрос о Норове она посмотрела на меня странно и отвечала неохотно, дескать, Норова нет давно. Пусто.

Другая, которую я выловил у служебного входа, оказалась немногим более разговорчивой. То, что Норова не

существует, она подтверждала. Но я настаивал на подробностях. По неохотным её словам, Норова не было уже лет семьдесят. Что-то скрывая, она несколько раз пыталась выпросить, зачем и почему я собрался в это забытое место, но в ответ я вдруг сам стал вилять.

Разговориться всё же удалось. Я передал ей историю отъезда, легендарную причину и что-то ещё. В ответ музейщица пригласила меня в кабинет, назвалась Настасьей Яковной и вытащила папку с бумагами: «Почитайте. Кое-что прояснится».

В папке, судя по надписи, лежали изданные в 1915 году записки этнографической экспедиции. Я было приготовился листать, но с удивлением обнаружил, что самих записок нет. А всё, что говорилось на нескольких страничках, было лишь официальным отчётом о причинах научной неудачи.

По словам секретаря, в деревне экспедиция встретила только пустые дома, рядом с которыми находились входы в подвалы. За несколько дней, что они провели в окрестностях, почти никого встречено не было. Единственный человек, которого они нашли, была старуха. Та сообщила, что люди ушли на заработки, а барин уехал к немцам. Другие сведения относились к архитектуре домов, описанию входов в подвалы и разного рода недоумениям, вроде отсутствия в деревне своего кладбища. Это последнее списывалось на крайнюю набожность жителей, желавших хоронить усопших на погосте сельской церкви в Илюхине, в семи верстах от Норова. Станным было и отсутствие скота, при сотнях десятин непаханных окрестностей.

Отчёт завершился тем, что Норово — место малолюдное и неприветливое. Деревней его назвать нельзя, поскольку все постройки из камня. Хозяйство крепкое, по-видимому за счёт мельницы, а также отхожих промыслов, на которые уходит всё население деревни, очевидно включая и детей. Судя по всему, в Норове есть множество пережитков крепостного права. Люди привязаны к барину, как видно, по причине достатка, подтверждение чему — солидные хозяйства и каменные дома.

В приписке изъявлялось желание повторить экспедицию в более подходящее время, когда и барин, и люди бу-

дут на месте. Но следующая за этим дата — 19 июля 1914 года — так и не позволила осуществить начатое. Всё это вызвало во мне множество недоумений. Нераспаханные поля говорили о том, что, либо упоминаясь барин был изрядным самодуром, не давая своим людям земли, отчего и уехали мои предки, либо прадед привирал, и в Сибирь заманила совсем не нужда...

Я недолго предавался размышлениям. Вернулась музейная дама.

— Ну, вот и всё, что мы имеем, — сказала она. А больше ничего не известно.

— То есть как — неизвестно? Разве экспедицию не повторили в советское время?

— Повторили, — со странной усмешкой сказала она. — Да только опоздали.

— Как — опоздали?

— Вот так. Экспедицию задумал наш музей. Подали заявку в академию. А пока ждали решения, Норово опустело.

— Это вы о каких годах говорите?

— О начале тридцатых. Дама заглянула в бумажку: да, тридцать первый. Коллективизация в разгаре. Норовские и слышать не хотели. Председателя им дали из области. Он приехал — там нет никого. Ну, потом-то люди появились. Он давай агитировать. Норовские — ни в какую: не нужен колхоз. Тогда этот председатель вызвал ЧК, и девять мужиков расстреляли. Ну, а дальше всё просто. Норовские как сквозь землю провалились. Стали искать — пусто. Чекисты все дома облазили, округу перетряхнули, но никого не нашли.

Тут мордой в ворота сунулся автобус и из него стали выходить люди. Музейщица заторопилась. Мы вышли на улицу, и она побежала встречать гостей... Но вдруг обернулась и крикнула предостерегающе и как бы насмешливо: «Вы там барина не повстречайте! А то мало ли чего...»

Я хотел спросить, какого барина, но она уже суетилась в тяжёлом крепостном проёме. Ждать было нечего, и я пошёл через ворота навстречу толпе.

От ворот я свернул направо и вышел в самую гущу парка, где среди огромных лип стояла круглая, в духе

XVIII века, церковь. Никакого погоста вокруг неё не было. Лишь в отдалении белела одинокая могила, ограждённая железными решётками на кирпичных столбах, плитой и надписью: «Иван Петрович Белкин. 1873–1919. Член РКП(б) с 1905 года».

Настасья Яковна объяснила мне, как добраться. Так что я дошёл до автовокзала, перекусил в приникшей к кривому забору кафешке и сел в автобус до Илюхина. Как я теперь знал, оттуда нужно было пройти ещё семь километров по старой дороге.

Дорога была на удивление ровной. Время от времени попадались даже знаки. Илюхино приближалось волнами, словно лежало среди вдохов и выдохов. Холмы сплошь заросли синим травцвтом. По краям дороги желтели кусты, а на обочине густо рос цикорий, так что утренним парашютистам дорога, наверное, казалась двойным джинсовым швом — этой запредельной советской мечтой. Цикорий только усугублял это сходство, напоминая кофейный напиток — непонятную, ничем не похожую на кофе бурду тех времён, о которой теперь, будто о воскрешающем молодость эликсире, ностальгически вспоминают старушки.

В стороне от дороги, за безлесыми холмами — равнина. Она стелется в сторону Норова, но обходит его стороной. В самом дальнем конце её знаменитое бранное поле — Галкина степь.

*

Полчаса пронеслось, и вот уже Илюхино — серенькое сельцо с кладбищенским холмом за околицей.

Автобусная толпа вывалилась на площадь и разошлась. А мне осталось только стоять и оглядываться. Дальше нужно было выбирать — на юг вели три дороги. Первая — грунтовка, шла вправо, где вдалеке стояла «избушка бабы-яги» — башня деревенского тока, средняя — кривой и битый асфальт — невдалеке вплеталась в первую. Третьей вообще не было. Вернее, узнать дорогу можно было лишь по породе и цвету низкой кудрявой травы, которая полосой уходила резко влево за холм. Я подкинул рюкзак и пошёл по ней.

Даже при хорошей погоде семь километров кажутся значительным расстоянием. Это не десять, но и не пять, так что идти со скоростью арифметического пешехода нужно было часа полтора. За четверть часа Илюхино совершенно укрылось за холмом.

Сколько живут дороги — неизвестно. Если верить, что по этой не ходили уже семьдесят лет, то ей ещё жить и жить. Было видно, что здесь только изредка проходил пешеход или проезжал «Муравей» — это трёхколёсное чудо советской мототехники, похожее на «кабину-роллер» — обескрыленного «мессершмидта», который бегал по дорогам послевоенной Германии.

День был в самом разгаре. Бабье лето будто навёрстывало упущенное. Ярко и как-то особенно густо светило солнце. Воздух струился и покачивался. Впереди ничего не было, и только эта «муравьиная» тропа бесконечно уходила вперёд. По краям её и дальше, в лугах, посвистывали жирные суслики. Их свист невольно создавал во мне чувство позабытой знакомости. Я даже стал воображать, что вот сейчас развернётся роща, слева заплетает ручей, а справа, на холме... Но ничего этого не было. И, спустя немного, мне стало казаться, что я выбрал неверную дорогу. Но это была только видимость. Как в Питере при взгляде на Адмиралтейство казалось, что оно стоит на горке, а Невский спускается вниз, так и здесь. Только всё это был не обман. Просто всё время я поднимался на огромный пологий холм.

Я дошёл до вершины и увидел будто другую страну. За холмом открывался ландшафт, никак не связанный с предыдущим. Холмы становились меньше; меж них вилась река. Я вытащил карту и стал смотреть. Вот вилка ручьёв, вот Борисова Грива, вставшая над холмом полукругим дыбом берёз, дикий Пасечный лес, Засекин березник. Ханский курган, на котором я стоял, высился плоской вершиной над вилкой ручьёв. Ближе к берегу — пятна крапивы, где-то там — далёкая Галкина степь. Ни жилья, ни дымка.

Ближе к реке «муравьиная» дорога начинала ветвиться и уходить во «дворы». За купами деревьев, как и говорила музейная дама, сохранились дома. Крыши давно провалились. Красный кирпич потрескался, но не сдавал-

ся. Маленькие странные холмики у каждого дома были входами в подземелья. Эти глубокие, выложенные диким камнем своды, уходящие в глубину, кое-где обвалились. В других было мусорно, сухо и пусто. Они заросли какой-то дикой, неприятно длинной, безлиственной и бледной травой, так что казалось, будто из подземелья наружу выростали волосы того самого привидения, о котором я уже был слышан.

В пустынном месте встретить человека страшновато. Кто знает, что у него на уме. И как мальчишки боятся каких-нибудь «чёрных туристов», так и я, осматривая подвалы, невольно дёргался, держа где-то в дальнем закутке памяти слова о таинственном барине. Я даже успел представить себе его — сгорбленно-рослого старика с заткнутой за кушак седой бородой до колен и коричневыми от дикой жизни ногтями.

Всё это усугублялось тем, что пока я осматривал эти странные подвалы, пока ходил по-над речкой и фотографировал виды, у меня несколько раз возникало чувство, будто за мной наблюдают. Я даже прятался за деревьями и пристально осматривал холмы и речку в бинокль, но ничего не видел, пока не перешёл на другой берег.

За поворотом речка ещё метров сто текла одной струёй, а затем раздваивалась и переходила в омута, каждый из которых был очередной точкой поворота русла. У одного из омутов я заметил человека. В военной плащ-палатке и болотниках, он был едва виден из-за крутого откоса. У ног его на рогульке торчала удочка, а сам он небрежно глядел на воду.

Подходить к рыбакам и спрашивать — распоследнее дело. Но, кажется, ни один человек, тем более, оказавшийся в пустынном месте, не совладевает с соблазном заговорить. Не решаясь подойти, я смотрел на него издали, пока сам он не поднял голову.

Я подошёл.

— День добрый.

— Добрый, — отвечал он и цепко глянул в лицо.

— Ключёт?

Вместо ответа он показал глазами на воду, где в садке шевелились несколько рыбок.

Говорить в таких случаях почти не о чем, и я, увидев лицо рыбака, собрался уходить, когда он спросил:

— Что-то я вас не знаю. Вы откуда?

Я не собирался вступать в пространные объяснения и коротко отвечал, что проездом.

— Странный у вас проезд. Вроде, не рыбачить. Так, ходите. Я уж несколько часов за вами наблюдаю.

Я вспомнил чувство чужого взгляда, которое не оставляло меня всё это время.

Хмурая недоброжелательность, которую я сперва разглядел на лице незнакомца, будто ушла, и я, подчиняясь невесте откуда возникшему доверию, присел на сухое бревно у воды.

Разговор стал разрастаться. Рыбак спрашивал поначалу что-то незначительное. Но чем дальше говорил он, тем больше разговаривался и я. В конце концов, в самых общих чертах я рассказал о себе и своём здесь появлении, заметив про себя, что совершенно ничего не узнал о нём. А это было бы интересно. Он явно был не тем, кем я мог бы представить себе его на расстоянии. Узнав же о нём побольше, теперь, по прошествии времени, я могу представить его более ясно.

Как некоторые люди, вроде Львовича, он весь состоял будто из двух половин. Но при том, что противоречие было налицо, шва между ними сыскать было бы невозможно. По всем внешним приметам — лицу, языку, жестам — было видно, что он человек образованный, воспитанный и тактичный. При этом, такого рода качества были будто другой, не местной выделки. Кроме всего, в нём была какая-то настороженность, которую он, очевидно, испытывал бы к любому чужаку. Но как могло это быть, если, по всему видно, он сам был чужак в этих местах, при этом, однако, зная досконально всё, что я видел перед собой впервые.

На мои вопросы Сергей Петрович, как звали незнакомца, отвечал уклончиво, держал глазом поплавок и прямоком на меня не смотрел. Но каждый раз, стоило мне отвернуться, он кидал в меня пронзительный взгляд.

На вопрос о привидении он только пожал плечами и ничего не ответил.

Солнце уже сильно клонилось к закату, и его понемногу обжимали тучи. Нужно было устраиваться на ночлег. Мне светила ночёвка под осенним дождём. Решив не испытывать судьбу и сделать шалаш, я попрощался и пошёл к вещам.

*

Как делаются эти самые шалаши, никто толком не знает. Впрочем, сто раз виденная на картинках конструкция казалась простой.

Я наломал сушняка, притащил две колоды, разжёг костёр и пошёл искать подходящие жерди. Сухой травы вокруг было много, а образец запомнился с детства — Ленин в Разливе.

К закату я только натащил жердей и успел сделать шалашный остов. Не покрытый травой, на фоне костра он только усилил то неуютное чувство, когда что-то, недоделанное человеческой рукой, находится рядом с тобой в диком месте.

*

Я уже готовился спать, когда невдалеке мигнул фонарик и послышались шаги. К костру вышел Сергей Петрович. Он осветил «шалаш» и покачал головой:

— Погощу?

Я кивнул и пододвинул закуску.

В ответ он снял с плеча армейский ситор, вытащил хлеб и термос.

Через пять минут мы сидели и пили вкусный травяной чай. Разговор будто притаился и никак не мог начаться — я ждал его слов, а он молчал, глядя в огонь.

Костёр щёлкнул и крупная красная искра кинулась вверх. За нею увлеклись ещё несколько. Сергей Петрович искоса глянул, взял хворостину, наколол кусок хлеба и воткнул над углями.

Удивительно, что около костра он был уже не Сергеем Петровичем, вернее, не тем рыбаком без возраста, которого я встретил днём. Свет костра будто подмолодил

его, и наша разница в возрасте уже не казалась такой разительной. Судя по всему, ему было немного за пятьдесят. Старила его лишь одна особенность, которая бывает у немногих и приходит с возрастом — несуетность, когда любое движение размерено и лишнего нет ничего. Моего роста, крепко сложенный, он производил впечатление человека уверенного и рискованного, но не даром, а с расчетом и выгодой, когда голову берегут не самолюбиво, а из отсутствия запасной.

Небо над головой и земля вокруг будто издавали спокойствие. Складывалось оно из множества мелких созвучий — щёлка углей, птичьих голосов, недалёкого плеска рыбы.

Вечерние тучи разнесло. Небо совершенно очистилось. Мы сидели вдвоём, но каждый из нас был будто сам по себе. Я лежал и мечтал, глядя в беспечный огонь костра, в безмятежную водную лень, в чёрное небо, куда навсегда уносились жаркие сочные искры. Давно уже я не был так вот, в глуши, когда остаёшься наедине с собой. Странно, но этот день, проведённый в совершенно незнакомом месте, был полон примет тех лучших незабываемых лет, к которым единственно и хотелось вернуться.

Я чуть не заснул. Сергей Петрович вдруг выдернул из хвороста длинную розгу. Она пронеслась надо мной, и густо запахло палёной шерстью. Я вздрогнул и посмотрел на него:

— ?

— Носки.

От шерстяных носков, которые я решил подсушить на камне, остались огарки. Отброшенные от огня, они нестерпимо дымили. Он плеснул на них остатками чая и отшвырнул в сторону.

Слова после долгого молчания всегда кажутся неожиданными. Гость вдруг заговорил.

— Знаете, как изобрели хлеб?

— Нет.

— Я думаю, после неудачной охоты. Шёл себе древний мужик примерно в такое же время и смотрел — нет ли оленя, птицы. Но шумное начало охоты разогнало вся-

кую дичь. Тропинка знакома. Копьё на плече. В животе пустота. Шёл он и с голодной досады срывал верхушки травы. Сорвал одну, кинул, вторую... А потом высыпались в горсть семена. Он съел одно зёрнышко — вкусно, второе. Повеселел. Набрал и ещё.

Вот и пещера. Дети визжат. Голодная баба смотрит сердито. От греха — боком к огню. Обложенный камнями домашний огонь будит мысли, отвлекает от голода. Смотрит дикарь на огонь, ест зёрна и думает, как извлечь из этих зёрен их внутренний вкус и насытиться им до отвала. Дух существа внутри и, значит, нужно разбить. Положил камень, высыпал горсть, ударил другим, кинул в рот — показалось вкуснее. Так и наелся. Утром вспомнил опять. Вышел на свет. Потряс мешочек, растёр ещё горсть, высыпал в чашку. Пока тёр, другие с удачной охоты вернулись. Пир горой и зёрна забыты. Наелся, потом отвлёкся какой-нибудь дикой затеей, забыл, укрылся от дождя, а позже увидел гибель своих трудов. И не желая дать погибнуть вкусному семени, стал сушить. Но, как и все дикари, ждать не умел, вытащил, отжал, перемял и ляпнул на горячий костровый камень. И вдруг, как он того и хотел — дух ячменя полетел по пещере. Ковырнул палкой, стал отколупывать эти поджаренные кусочки. Вкусно, но мало. Надо идти. Выпросил у хозяйки мешок, набрал под завязку, принёс. Пока шёл, полмешка высыпалось. Дальше долгая зима, но память о зерне сохранилась. На другой год туда же и, чудо, колоски ближе, будто сами идут навстречу. Вот колосок, вот ещё два, а тут целая куча. И не надо идти.

Волшебные зёрна собраны, и вновь есть запас: нет оленя — лепёшки помогут. И, главное, запах. Он привлекает не только его. Вот и олени подходят. Раз — и разбавил оленя лепёшкой. Она нравится всем, и, может быть, будут ей рады и те, кто управляет судьбой. Перетрёшь, поставишь в кувшинчик — и вот уже дождь и вода, начнёшь жарить — следом — удачная охота. Но знает это пока только он. И вот он уже главный волшебник. Зовёт зёрна житом и лучший кусок ему — за труды. Слева от норы — огородик. Там растёт целый мешок. Хитрость давно разгадана, но всё уваженье ему. Сеять все могут, но не все умеют об-

щаться с богами. А он уже, сам не зная, как себя звать — и мелиоратор, и садовник, и пахарь, и жрец...

Гость замолчал, вытащил прут и снял хлеб. От запаха кружилось в голове. История эта вдруг навела на мысль о детских курочках и петушках. Будто услышав мои мысли Сергей Петрович продолжил: «Вот и дети — у них всё как тогда, без затей — прекрасно и дико. Так до сих пор и срывают: курочка или петух... Вы здесь надолго?»

— Где-нибудь в полдень поеду. Думал, на несколько дней, но...

Сергей Петрович посмотрел на шалаш, взял термос и вылил в костёр: «Переходите ко мне. Хлеб у меня есть, а завтра рыбы наловим».

Я собрался, включил фонарь и пошёл вслед за ним.

Шалаш стоял спиной к реке. Рядом тлел костёр. Сергей Петрович показал место и ушёл в темноту. Я залез внутрь, где тишина ещё усугублялась темнотой. Глаза слипались. В закрытых глазах загорелись точки сегодняшних событий. Я начал их вспоминать и заснул.

*

Проснулся я рано от шелеста травы. Выглянул из шалаша. Рядом с полупотухшим костром на перевернутом ведре сидел Сергей Петрович и оснащал удочку.

— Доброе утро.

— Доброе. На рыбалку пойдёте?

— Пойду.

— Ну, тогда берите вот эту, — он кивнул на вторую, прислонённую к шалашу.

Мы взяли снасти и пошли к реке.

Рано вставать я никогда не умел. Предпочитал засиживаться допоздна. Особенно это неприятное свойство развил Питер, где окна светятся далеко за полночь, а магазины открываются к десяти или позже. Да и люди предпочитают работать по сменам. Вся эта воздушная серость, разлитая по городу, воздуху, стенам, обладает там тоскливым и сонным свойством, от которого не так-то легко отделаться утром. Вялость и сон — главные признаки жителя этих мест. И вечная попытка преодолеть себя, переломить сон, напоминает бессмысленную нанайскую

борьбу. Зато как оживает этот вечный страдалец, стоит только, пусть ненадолго, уехать в места более здоровые и живые. Приветливая улыбка не сходит с лица, бодрость рвётся наружу. И этот самый питерец, быть может, трижды хам по природе и воспитанию, воспринимается, как милейший человек, дополняя известный миф о «необычайной культурности» этого места. Никто ведь не знает, что улыбка эта произвольна, а возникает от одних только природных условий. Но можно и понять, что, как говорят иные, все люди по природе хороши и нужно только дать им возможность думать и делать иначе.

Мы спустились к реке. Сергей Петрович тихо показал мне заводь и пошёл влево. Я насадил червяка и закинул удочку недалеко от берега, сел на бревно и стал ждать поклёвки.

Это была не столько рыбалка, сколько нестерпимая память. Ведь я не ловил рыбу так давно, что воспоминания протискивались, как в узкую щель в заборе.

Восход окрашивает небо. Бабушка подходит, засовывает руку под одеяло и гладит меня по ноге. Я уже проснулся, но сон не отпускает. Она это знает и потому оставляет меня ещё на пять минут. За них я успею торопливо пролистать остатки историй и даже связать их с незапамятными началами. Но, стоит открыть глаза, как их осмысленность теряется, и все они выходят бессвязной ерундой. Этого не может быть в жизни, но оно подменяет её столь искусно, что даже кажется лучшим.

Таким утром, за полчаса до рассвета, трудно найти не то что одежду. Даже глаза на лице, кажется, пристраиваются с трудом на старое место. Трёшь лоб, щёки... Глаза найдены, но ещё косят и норовят убежать куда-нибудь на виски. И нужно либо ждать, либо умыться.

Но вот ты уже на ногах и бредёшь тесьмой берега от омутов до плотины. Удилище — тонкая вербная розга, поплавок — винная пробка, в руках котелок, в рукаве крючки.

Утренняя рыбалка — занятие одинокое и плавное. Ни в мыслях, ни в движениях ещё нет дневной резкости. Ты чувствуешь себя как рыба в воде и потому её понимаешь. Наверное, от этого такая рыбалка если не удачнее, то желаннее всякой другой.

Спортивные состязания по уничтожению наибольшего количества рыбы — на рыбалку совсем не похожи. Рыбалка — не спорт, не охота. Она созерцательна и тиха. Но этой же своей тишиной она непременно привлекает не имеющих удочки людей. Эти неудачники появляются за твоей спиной в самом отдалённом месте и путают всё. Они неприятны. Ты начинаешь нервничать, нервный пульс от руки передаётся воде и в итоге получаешь чистое удовольствие — смотреть на неподвижный поплавок. Хорошо, если человек, который распугал тебе всю рыбу и на корню убил удовольствие, окажется чем-нибудь интересным. Но так бывает редко. Поэтому странно, что Сергей Петрович не послал меня куда подальше... И всё же — кто он такой?

Его не видно. Уже час, как он скрылся за откосом и теперь ходит где-то выше по течению.

Перо поплавка приседает, тянет вниз и ложится. Подсекаю. Серебристая воздушная тень бьётся о берег. Краснопёрка.

Начинается рассвет. В нём есть предчувствие близких дождей. Но это, может быть, к вечеру. А сейчас занимается ясный день с прохладным ветерком. Этот ветерок понемногу охлаждает рыбий аппетит, так что ставлю удочку на рогульку и сажусь на берег.

Выходит солнце и будто вырезает вялые контуры деревьев. Расцветивает берег. Становится холоднее. Поплавок сносит к груде мусора. Клёёт. Дёргаю и обрываю крючок.

Сергей Петрович появился сверху. В садке его трепыхается несколько небольших рыбёшек.

— Ну как?

— Да вот, — киваю на ямку.

— Кидайте.

Я кинул рыбку в садок, смотал удочку и пошёл следом. Сергей Петрович уже поднялся на обрыв и бодро шагал к шалашу.

Вода на чай уже закипела. Он снял котелок с огня, кинул щепотку заварки и присел на бревно.

Чай — напиток двух сортов. Один — молчаливый, другой — разговорчивый. Сперва нам попался первый, а потом и второй, так что скоро мы разговорились.

Я рассказывал о себе. Сергей Петрович слушал и молчал. Потом зачерпнул ещё кружку и заговорил сам. Пржнее его немногословие теперь было лишь относительным и касалось больше манеры разговора. Говорил он короткими фразами, очень правильно и медленно, будто уговаривая каждое слово. Так говорят то ли некоторые, уставшие от лишних слов, профессора, то ли отличники-иностранцы.

За следующий час, пока мы пили чай и завтракали, я узнал немного о нём и целую историю о Норове, которая пока ещё нигде не записана.

*

— Сергей Петрович, мы вот уже два дня друг друга наблюдаем, а я о вас ничего не знаю. Вы откуда?

— Так и я о вас, — отвечал Сергей Петрович, — хотел бы знать больше.

— Что же вы знаете, кроме того, что я вам вчера рассказал? — недоверчиво спросил я.

— Ну, хотя бы вашу фамилию.

Я попытался вспомнить, говорил ли я об этом, но не вспомнил и лишь разговор с Настасьей Яковной объяснял всё однообразие фамилий в здешних местах.

Сергей Петрович не дал мне ничего спросить и только сказал: «Мы ведь однофамильцы и, наверное, далёкие родственники».

— Вы, разве?...

— Да, я тоже Норов.

— Откуда вы знаете, что и я?

— Узнать не трудно — фамильные черты не так-то просто стереть. Иных можно узнать по внешности, других — по жестам, третьих — по словам. Всё эти приметы даже спустя сотни лет стираются трудно.

— И что, у меня какие-то особенные жесты или слова?

— И то, и другое... Только не спрашивайте меня, какие. Я ещё сам в этом не вполне разобрался.

Сергей Петрович замолчал, а я, в свою очередь, вспомнил, что в самом начале и мне показалось, будто я его где-то видел или даже знаю. Но где и как — вспомнить не мог, да и само это желание исчезло так же быстро, как и пришло.

Сергей Петрович вдруг поднял голову и сказал: — Однофамильцы мы почти. Моя настоящая фамилия — Норовский. Ведь я — наследник норовских помещиков. Но уже дед стал Норовым. Как думаю я, так было проще не потеряться, да и опасность быть принятым за контрреволюционный элемент значительно уменьшалась. А в двадцатые-тридцатые годы, сами понимаете... Да и теперь хорошо — проще откреститься от всех этих «ских» из телевизора, что корчат из себя невесть кого.

Я недоумённо посмотрел на него:

— Так ведь всем известно, что это не фамилии, а псевдонимы. Нечто вроде собачьих кличек — красиво, звонко — и довольно. Самореклама, сценическое имя.

— Так-то так, но слишком уж эта реклама приросла к ним. Они ведь претендуют ни больше ни меньше, как на новое дворянство, даром, что из дворников. Их вот и называют элитой, хотя всех этих Дубровских и Каховских сейчас разве что в кавычки брать, а прежде за подделку и в Сибирь загреметь можно было. Только зачем? Колокольных дворян ведь и так, как говорится, по ухваткам знать. А фамилии — это главное, чем они завладели, пока суть да дело. Ну и вышло, как всегда и выходит, когда польское словцо на русское ухо положат. Вот, есть на Украине город Крестоград, а называют его, прости Господи, Крыжополь. Вот так и это всё звучит. Оно ведь, паспорт дела не исправит, хоть от Рюрика запишись.

— Чудеса с этим «дворянским» сознанием, — хмыкнул я. — Стоит человеку вбить себе в голову, что и он тут как тут, и, откуда ни возьмись, появляется целый набор разных качеств — вкусы другие, язык, манеры...

— Да кабы манеры. Скорее уж замашки. И всё остальное того же свойства. Вот так и дед посчитал. Потому и фамилию сменил на «мужицкую», от греха подальше.

— Интересная, должно быть, у вас история — с «переодеваниями», — съехидничал я.

— Ну, у вас, судя по всему, тоже. Мы имя поменяли, а вы — географию.

— Вполне может стать, что из-за вас и поменяли. Ведь это до революции было. Говорят, прадед от безземелья отсюда уехал.

— От чего?

— От того, что земли не было. Так дед говорил. А ему-то я верю.

— Ну и зря, — вдруг, и совсем некстати, развеселился Сергей Петрович. — Не поэтому он уехал, а совсем по другой причине.

— И по какой? Может быть, вы знаете? — в тон ему отвечал я.

— Может, и знаю, — серьёзно и чуть таинственно округлил Сергей Петрович этот спор и начал рассказ. Я слушал, только по временам подтвердительно кивая головой. — А дело было так...

*

— Говорят, пришли во времена незапамятные на место Илюхина, что вы проходили, остатки разрёпанного полка с целым обозом раненых и убитых. Место пустое. Рядом — дикая степь. Похоронили мёртвых, справили тризну, подлечили больных. И то ли идти им было некуда, то ли ещё какая причина, но решили остаться здесь. Леса нет. Стали строиться, как смогли. Нарыли землянок. Потом в семи верстах, здесь вот, — он махнул рукой на обрыв реки, — нашли белый камень. Поначалу таскали туда, а потом сами перешли. Стали строить дома. Снова набег из степи. Ушли в землянки да так и остались.

Позже, уже после татар, пришли княжеские. Хотели обложить данью, а вместо того дали преимущества — живите вольно и охраняйте — дальше ведь всё, пустота — нет ничего. С этих пор деревня называлась Кидикша. И были они воинами и копарями, а потом и каменщиками.

— Давненько дело было, — вставил я. — Ведь, наверное, где-нибудь в летописях прочитать можно.

— В том и дело, что нельзя. Нет никаких летописей.

— Почему?

— Таинственный здесь народ жил. Да я ещё расскажу. Не торопитесь.

Сергей Петрович взял ведро и пошёл к речке, вернулся, продел палку, поставил на огонь и подкинул дров: «Уху сварим», — пояснил он и стал рассказывать дальше.

— Вы о летописях говорили. Так вот, летописцы говорят, что первый Норов — Василий — вышел «из немец» в Новгород где-то в середине 15 столетия. Другие считают, что действительным родоначальником был Родион Васильевич, переведённый в 1485 году великим князем Иваном Третьим в Коломну. Но всё это не так, потому что словарные Норовы — просто случайное совпадение звуков.

При том же Иване, когда Москва стала столицей, наши делали фундамент под каждое государственное здание. Позже вышла какая-то тёмная история с Успенским собором, когда рухнули стены. Обычно говорят, что из-за татарщины у нас разучились строить. Но это выдумка. На самом деле тут что-то другое — месть или зависть. В результате, наших обвинили в колдовстве и казнили. Розыск установил, что они будто бы заложили в подшев, по-нашему — фундамент, петушью голову. Голову не нашли и всё свалили на «ложный камень». Взамен, и не надеясь уже на своих, из Италии пригласили Рудольфа с учениками, который и довёл до конца, но уже чуть на другом месте.

Позже о норовцах перед походом на Казань вспомнил Иван Васильевич. Они прорыли подкоп и взорвали стену. После, в память о покорении ханства, им поручили заложить Покровскую церковь. Казалось, привилегии возвращались. Но подвёл Алепий Бармостин, которого какой-то глухой писарь обозвал Бармой и Постником. Бармостина ослепили, а наших не решились — вспомнив и Успенский собор, и казанский подкоп. Но и к другому больше не допускали. Так что осталась только так называемая «кирпичная воля». Вплоть до Петра в каждое государственное здание мастер закладывал один кирпич. Последним и был мой родоначальник. Тогда-то, чтобы отличить, нас и стали звать Норовскими, а остальных Норовыми.

С Романовых «кирпичная воля» стала забываться, хоть и сохранилась до сих пор как почётный жест, когда кирпич закладывает глава государства. При Петре все привилегии отменили и приказали жечь кирпич для Петербурга. Елизавета лишь подтвердила отцовскую волю и оставила две привилегии местного значения: копать норы и хоронить бескредно. Остальным этого не позволялось, да и сами они не хотели, считая причудой и делом поганым. Потому и за невестами

приходилось ездить далеко, куда слухи не доходили. Продолжила Екатерина. Она всё любила переназывать и повелела деревню величать Норовом, однако строить верхние дома. Так что от старого осталась только речка. Надеялись на Павла, что всё поперёк матушки делал, но тот не успел.

В конце сохранилась только насмешка — привилегия, больше похожая на кабалу. Уже при Александре нас брали только в сапёры, а потому, воспользовавшись дворянскими вольностями, мы не служили, предпочитая суть факту. Так что среди знаменитых сапёров наших имён не найти. Словом, мы показали тот самый скрытый нрав, который и привёл к тому, что фамилия захудала.

Сергей Петрович замолчал, предоставив мне думать о том, как причудливо складывалась эта нигде не записанная история.

— Откуда всё это известно?

— А вот, оттуда, — кивнул Сергей Петрович на ближайший подвал.

— Я-то думал, что это просто погреба.

— И погреба тоже, но не совсем. — Он поманил меня, встал, открыл дверь в подвал и пошёл вниз.

Спускались мы немногим больше, чем в обследованных мною подвалах. Потом открылась дверь и около минуты мы шли в полной темноте. Опять отворилась дверь.

— Глаза зажмурьте.

Я увидел, как он повёл рукой в сторону. Вспыхнула спичка и загорелась керосиновая лампа.

Мы оказались в широкой комнате с низкими потолками. Посредине стоял стол, пара табуретов и скамейка. У стены глухой шкаф. На всём, что было здесь, виднелся отпечаток старости и оставленности, будто заходили сюда только в последнее время и ничем не пользовались. На полках, столе и стульях, впрочем, не было пыли — этой приметы неподвижного времени.

Направо и налево виднелись запертые двери.

— Что это, — спросил я?

— Барский дом, сказал Сергей Петрович.

— Разве ж это дом? Подвал.

— Ну да. Только он и есть дом. Всё, что было сверху — только так, декорация. В них и не жили никогда. То есть,

жили, конечно, но уже в самом конце, да и то только некоторые мужики. Наша семья жила здесь.

— Не очень понятно. Вот вы говорите, что вы, по сути, бывший помещик. А я — крепостной. С фамилией что-то не то. Как всё это понимать? Ведь вашей семье, значит, деревню за службу дали?

— Да нет. Совсем неправильно. Не было здесь барина в том смысле, в котором в округе и по всей России. Никто Норово никому не давал. Просто одна семья была старшей, а уж остальные, по сути, меньшие братья.

— Хорошенького вы мнения обо мне.

— То есть?

— Ну, Есенина помните: «И зверьё, как братьев наших меньших»...

— И что? Он ведь и упирает на «как». У него «как» в смысле «поскольку»: поскольку они братья меньшие, то и не бил. Только это расхожее выражение, к тому же переиначенное потом от неправильного понимания. Почему это перенесли на животных, я не знаю. Может, потому что такие мысли лучше выражать в прозе. Стихи, всё же, материя звуковая. В те времена братьями меньшими называли вовсе не животных, а народ. Скажем, я — князь, а вот вы — брат меньший. Только в Норове это выражение не носило никакой иронии. Мы и действительно были братьями. Старшие управляли, младшие подчинялись, и все работали. Вот и дома были у всех одинаковые. Это ведь так только, по царской воле закрепились, что мы — помещики, а вы крепостные.

Мы одновременно окинули друг друга взглядом и остановились на лице. Помолчали.

— Откуда вы знаете историю Норова? — спросил я.

Сергей Петрович открыл неприметную дверцу и вытащил несколько толстых тетрадей. Я взял верхнюю и раскрыл. Надпись на первой странице гласила:

Исторія Норова,
составлѣнная по прѣданіямъ памяти, княжѣцкимъ
и царскимъ граматамъ, а такъ же по стариннымъ и
новѣйшимъ книгамъ
Алексѣемъ Норовымъ
в 641 году отъ основанія (1883 отъ Р.Х.)

— Что это за год такой? — поинтересовался я.

— Год от основания Норова.

— А как считать?

— Примерно так же, как с Римом. Помните, греки считали по олимпиадам, а римляне — от основания города. Он много этим занимался. К сожалению, сохранились вот только выжимки, по которым мы должны верить, что сейчас по норовскому календарю 760 год. По этому поводу я долго сомневался, но в общих чертах сходится. В 1242 году вполне могли их, скажем, те же татары откуда-то сдвинуть. Только вот кто они были и откуда пришли, похоже, узнать уже невозможно...

— Неужели эти записи сохранились вот здесь? — удивлялся я. Тут, конечно, сухо, но как-то не верится, что всё это столько лет простояло и никто не залез. Даже курганы воры потрошили. Чего уж сюда.

— Нет, конечно. Тетрадка эта — другая история. Расскажу как-нибудь.

Сама внешность её несла в себе противоречие. Тетрадка была сравнительно новой, а манера письма и почерк старинными, как если бы я держал в руках фотокопию.

Тетрадка эта никогда издана не была. Потому и истории Норова нет. Она рассыпана в книгах, летописях и в историях норовцев. Отыскать все факты было бы так же трудно, как найти в древних кладках те самые кирпичи, которые туда закладывали когда-то наши общие предки. А эта бесценная летопись лежала сейчас в глубоком подвале и Сергей Петрович, кажется, даже не думал о том, чтобы вытащить её на свет божий и рассказать. Может быть, он был и прав. Тайна, которой жили предки, должна, наверное, остаться тайной.

Алексей в молодости много путешествовал, собирал книги, а позже ушёл сюда и несколько лет читал и писал. Работа его напоминала огромный холм, который он насыпал руками, по щепотке выкапывая сведения из сотен томов, когда-то стоявших здесь. Книг давно не было, и только тетрадки каким-то чудом сохранились, так же, как сохранилась эта история, не имеющая ни основания, ни конца.

— Можно прочитать об Алексее? Ведь наверняка он где-нибудь засветился...

— Вряд ли, — отвечал Сергей Петрович. — Только у Венгерова я нашёл. Он открыл лежавшую на столе папку, вытащил бумажку и прочитал: «Норов, Алексей Николаевич поэт, драматург, автор сочинений по археологии, истории мистицизма и генеалогии, родился 23 июля 1859, в имении Бельзовка-Сабуровка, Кирсановского уезда, Тамбовской губернии, в помещицкой семье, председатель Тамбовской учёной архивной комиссии».

— Ну и что? Почему не он?

— Ну, во-первых, родился не здесь. Во-вторых, он Николаевич, а наш — Никитич. Словом, всё тот же двойник. Впрочем, усмехнулся Сергей Петрович, я сам долго думал, что это он и есть. Но, на деле, просто спутал этого тамбовского мистика с нашим летописцем, который нигде и не печатался, хотя и собирал местные пословицы, но стихов и пьес не писал. Кроме того, наш Алексей и родился на тридцать лет раньше...

Сергей Петрович помолчал и стал рассказывать дальше.

«Много раз покушались на Норово, да всё зря. Последним был царь Александр Палыч. Он тогда начал борьбу с «фармазонами». Коллегию организовал, всё обо всех узнал. А тут донесли о Норове, дескать, все каменщики, живут поровну. Барин служить не хочет. Не иначе — масон.

Вызвали тогда пращура в Петербург и давай расспрашивать, что да как, да почему то и это. А он, не будь дурак, захвати с собой шкатулку с царскими грамотами да «кирпичную волю».

— Что за кирпичная воля?

— Да вот она. — Барин кивнул на полку, где стояла странная конструкция, которую я прежде не заметил. Это был старинный кирпич, заключённый в крепкую деревянную раму с приделанной сверху ручкой. Я подошёл ближе. На одной стороне кирпича было выдавлено непонятное клеймо, а на другой какие-то мелкие письмена, разобрать которые в тусклом свете было невозможно.

— И что это такое?

— Нечто вроде столпа, которым кичились дворяне древних фамилий.

— Но ведь Норова нет. Значит, покушались и после?

— Нет, после уже не покушались. После мы сами на себя покусились.

— Это как так?

— Да просто. Мы своих женщин выдавали замуж по-дальше, на запад, а жён брали на востоке, — он махнул рукой куда-то далеко, в сторону шкафов — чтобы приезжать неповадно было. Ну и не сболтнуть чего лишнего. А тут эта карусель — война, потом переворот.

— Ну, ваши-то уехали, наверное, куда-нибудь в Париж?!

— Никто никуда не уехал. Как было, так и осталось. Долго поначалу до нас дело не доходило. Придут белые — мы сюда, — он показал на пол, — придут красные, мы тоже здесь. Лихое время переждали, стали жить как прежде. В 20-х для маскировки заделались под коммуны. А потом другая песня — колхозы начались.

— А дальше?

— А дальше просто. Прислали из Божецка уполномоченного. Он по домам, агитировать: давай, дескать, в колхоз. Всё, говорит, свозите в кучу. Наши подчинились: свезли всякий хлам с верхних домов и выложили кучей вот перед этим подвалом. Он походил, подёргал старые юбки и как заорёт: «А ну, вытаскивай свои богатства. Я знаю, вы народ зажиточный. То ещё кулачье. Разбирайте своё тряпье. Колхоз, это вам не бабьи ленты. Вы что, издеваетесь?» И давай палить из нагана в воздух. Ну, мужики плечами пожали да разошлись. А на третий день отряд приехал. И тех, кто наверху жили, согнали и расстреляли там, где осыпь у реки. Потом сюда, в верхний дом пошли — пьянствовать. Они пьют, а мужики недостреляные по берегу ползают.

Потом и узнали, что да как. Уполномоченный этот нашего одного — Авдея — соблазнил. По пьянке и скажи ему: ты, говорит, этих-то добей, чтоб не расплозились, часом, а полушубки их себе оставишь — в награду. Ну, тот вилы взял и пошёл. Потом говорили: увидит живого, перевернёт на спину, вилы на грудь и ногой наступит.

Недаром, видать, говорили, что на луне даже видно, как Авель Каина вилами заколол.

— Так вроде бы наоборот...

— Что наоборот?

— Каин — Авеля.

— Ну, кто как думает, — загадочно отвечал Сергей Петрович. Вот здесь думали иначе. Авдея вот в Авели и записали... Тут, кстати, и могила его есть, — усмехнулся Сергей Петрович. — Пойдёмте. У нас там уже ведро прогорело, наверно.

Мы вышли из подвала. Погода опять менялась. Горизонт обтекли тучи и задул холодный, неуютный ветер. Огонь метался, норовя поджечь берёзовые тычки.

Сергей Петрович сел потрошить рыбу, а я взялся за картошку.

Через час мы уже хлебали горячее и вкусное варево. После рассказа и подвала мне казалось, что вместо дома, куда я так стремился, прямо из Питера я будто бы попал в какую-то трубу, наподобие всех этих подвалов, которая вела в другие, давно прошедшие времена. Безгололье и совершенное безлюдье этого места будто только доказывало правоту этой мысли. Здесь всё было по-другому. И сам случай, который свёл вместе потомка помещика с потомком крепостного мужика, только усиливал моё удивление. Но оно не было тем обычным удивлением от случая, с которым иные смотрят на сказочные картинки или экзотические острова: когда на улице Берлина вдруг видишь медведя или стукнешься яичком на острове Пасхи. Здесь сошлось другое, будто я приобрёл глаза, которыми смотрели на все эти отмели и косогоры мои далёкие предки, имён которых я не знал, но все до единого лица носил в себе самом. Наверное, бойцы того странного отряда, что поселился здесь, видели всё так же, как и я: сухой ковыль, речушку, ветреное осеннее небо — и почему-то решили остаться, быть может, только на год — переждать зиму и уйти восвояси. Вот только задержались надолго, считай, навсегда.

Я смотрел в огонь и представлял, как здесь же, вокруг костра, собрались насмерть уставшие от похода, погони и ран мужики, варили ту же рыбу и, не спеша, рассуждали.

Что говорили они? Откуда пришли? Быть может, они были последними остатками неведомого древнего царства, размётанного злой волей соседа, или отбившимся от своих, а потом отбивавшимся от врагов отрядом? Или и вовсе изгоями, по чьему-нибудь повелению отлучёнными от родины и вышвырнутыми этой волей на черту Дикого Поля? Ведь была же причина, по которой они на протяжении целых веков рыли эти подвалы и охраняли какую-то тайну, начало которой уже и сами не знали, так что предание сохранилось только в пустом обряде — делай вот так и не иначе. Может, была в этом какая-то правда, что доказывала осмысленность и трезвость обряда. Он — не пустое слово. Он имеет вескую причину, которой можно не знать, но само действие, которое ею когда-то порождено, спасёт от неведомой беды, как пренебрежение ею не пощадило тех мужиков, что постреляли некогда здесь. Не пожелай они жить по-новому, может, и остались бы живы. И моё нынешнее состояние говорило будто о том же самом — живи, где родился — родина убережёт тебя от беды. Она и была моим нынешним обрядом, который едва ли оценили бы те, кто так стремился туда, откуда я уже возвращался. Я уже будто чувствовал на себе их недоумённые взгляды, для которых не найти объяснений. Но ведь и обряд потому необъясним, что его невозможно понять. Никто не поверит тому, что причина его повторится опять и именно с тобою спустя, может, тысячу лет от начала. А она непременно случится...

Отряд и обряд рифмовались между собой и будто высекали искры. Они летели в разные стороны, мошкой вились над костром. Ветер метал их ко мне, заставлял отодвигаться подальше.

Пока я думал, барин уже сходил к реке и теперь ставил воду на чай.

— Сергей Петрович? Так куда делись люди?

— Это и я хотел бы узнать.

— А зачем?

— Зачем знать?

— Ну да.

Этот простой вопрос словно поставил барина в тупик. Казалось, он даже растерялся. Но не задумался, словно

сжался, видимо не желая говорить о том, что будто бы составляло какую-то тайну. Ведь наверняка эти люди просто через свои хитрые катакомбы вышли к берегу и растворились среди полей. В этом не было ничего необычного. Тем самым они сохраняли себе жизнь. В ответ Сергей Петрович только с сомнением покачал головой. Но это самое возбудило вопрос и во мне: мои-то уехали раньше. Вот тут действительно вопрос. Если уж барин в самом начале утверждал, что безземелье тут ни при чём, то почему уехал прадед? Или это была некая идея, которая охватывала отдельные семьи, а порой и целые деревни, как крестьян князя Болконского, искавших какие-то «тёплые реки»?

Я спросил Сергея Петровича об этом. Но он смущённо молчал. Сказал сгоряча, а теперь было видно, что он не хитрит, а просто не знает.

Сергей Петрович запил паузу чаем, плеснул остатками в сторону и поднялся: «пройдёмся».

Мы пошли наискось в сторону той самой мели, на которой когда-то Авдей добивал мужиков. Ручеёк тут еле тёк, так что можно было просто перескочить на другой берег. Сразу отсюда поднимался высокий, похожий на курган холм. Со всех сторон он обрезался оврагами и обойти его было нельзя. Вершина, через которую мы пошли, оказалась самой высокой точкой. Я ожидал увидеть уже знакомое по первому дню, но сверху неожиданно открылось совершенно другое — холмы, перелески, ручьи. Километрах в трёх выше по течению Кидикши лежала деревенька.

— Это что?

— Новонорово, — отвечал Сергей Петрович.

— И что там?

— А, ничего. Люди какие-то живут...

По откосу мы спустились в лес.

Недалеко от места, где я вырубал жерди, стояло странное надгробие: растресканная плита с пирамидкой и ржавым штырём наверху. Прочсть полустёртые буквы было почти невозможно. Я взглянул на Сергея Петровича. В ответ он вытащил фляжку, смочил тряпку и провёл по надписи. От сырости буквы проявились, так что я без труда смог прочсть: «Авдею Саввичу Жукову, погибшему от рук

кулацких выродков в борьбе за Советскую власть. Имя твоё в комсомольских сердцах».

Сергей Петрович продолжил рассказ: «После той ночи Авдей запропал. Ну, думали, дома отсыпается. А его ни день нету, ни два. Председатель проспался и давай гоношиться, дескать, где Авдей?! А нет Авдея. Пошёл на берег, мужиков тоже нет. И полушубков. И никого. Перебудил он чекистов и давай розыски устраивать. Нашёл в лесу холмик свежей земли. Рыть не стали, но постановили: кулаки Авдея убили и закопали.

Чекисты перешли в Норово ещё по льду. Но весенний лёд хрупок, да тут ещё кто-то творило на мельнице запер. Река вскрылась. Они туда-сюда — выхода нет. Забрались в дом, тряпьё на пол набросали и здесь неделю торчали, пока пройти стало можно. Боялись так, что и про Авдея забыли. Потом уехали вместе с председателем. Он через неделю вернулся, а здесь пустота — дома стоят, людей нет. Всё обыскали, никого не нашли».

По словам барина, Новонорово не имело к старому уже никакого отношения. Жители его — люди чужие, и деревню назвали так лишь потому, что как-то назвать её было нужно. Старое место обживать не стали. К тому же, речная петля, на которой стояло Норово, была будто заговором против властей и новое Норово перенесли вверх по реке, туда, где берег значительно повышался и глумливая река не могла уже обтечь и отрезать сельцо.

Некоторые дома в Норове даже начали разбирать, но домодельный кирпич, стоило его выдернуть из кладки, лопался и рассыпался. Затею эту оставили, и оттого Норово так и осталось стоять призраком. Ходить сюда опасались. Лишь на лесную могилу поставили памятник со звездой и надписью. Но мемориала не получилось. Откуда ни возьми, до могилы было далеко, и старания местного актива пропали даром.

И памятник этот, и могила были курьёзом — под холмиком лежал точно Авдей, но не человек, а любимый пёс старого барина, проживший, говорят, чуть ни лет тридцать. А человеческий Авдей, скорее, просто бежал или упал в полынью.

— На кладбище сходить хочу, посмотреть.

— Нет тут кладбища. Как хоронили, так и хоронят в Покуте, там, где первых похоронили. Если ещё на ночь останетесь, завтра сходим.

День и вечер прошли в разговорах. Сергей Петрович рассказывал о себе, я — о себе, так что ночь, как в плохих и старинных романах, подкралась внезапно.

Я узнал, что в середине 30-х Норовы оказались в Туле, потом перебрались в Ленинград, где умер дед — Василий Николаевич. Там же их и застала война. Отца Сергея Петровича забрали на фронт. На издохе войны, под Веной он получил тяжёлое ранение и вернулся домой. Дядя Пётр воевал с японцами и вернулся только в 49-м.

Как именно и когда семья перебралась из Норова, Сергей Петрович не знал. Дед не оставил никакого предания, а отец умер рано, не успев ничего передать пятилетнему сыну... И вот уже несколько лет Сергей Петрович только пытался раскрыть эту тайну, обживая места, не связанные с собственным рождением, но прямоком с его, а значит и моим, родом. Так что получалось, что мы находились в одном и том же положении.

Словно утверждая тайну, Сергей Петрович ушёл в подвал, а я влез в шалаш и безмятежно растянулся.

Я засыпал и всё думал о нашем разговоре. Потом мне снился мой собеседник, и мы о чём-то говорили. А дальше начался буран. И в этом буране возникла отара овец с пастухом. Она обступила нас. Бородатый пастух, скобочась, смотрел на нас со своего коня, а потом круто взял повод, оборотился на стадо, дико гикнул с кавказским акцентом и понёсся в сопровождении двух собак в сторону ветра.

Ночью я проснулся. Вышел. Ветра не было. Над головой ярко горели звёзды. Но дальше, на запад, небо непроницаемо темнело.

Утро было спокойным. Только стрижи носились над водой, чуть не царапая крыльями воду.

Ветер сорвался днём. Он наволок облаков и срывал охапки листья. Оранжевые и жёлтые вихри летели над головой. Они неслись с лесного пригорка, падали в речку и казались материализованными следами невидимого и невесомого существа, что путало охотника тысячами об-

манов, не давая себя обнаружить. Голова была полна ветреным сном.

Я стал собирать вещи. Чуть погода подошёл и Сергей Петрович.

— Собираетесь?

— Собираюсь. Пора.

— Через Илюхино?

— Да.

— Провожу, — твёрдо сказал Сергей Петрович. — В Покут зайдём. А я завтра поеду.

В молчании попили чаю. Я присел рядом с барином на камень у подвала, подхватил рюкзак, и мы пошли.

По дороге мы разговаривали о чём-то далёком от ещё близкого Норова. Сергей Петрович спрашивал о Сибири, о причинах отъезда из Питера, о моих планах. За разговором семь километров прошли незаметно.

*

Кладбищенский холм был виден издалека. Будто обречённый по сторонам, он казался рукотворным курганом. Измождённые, с засохшими верхушками деревья, сплошь униженные вороньими гнёздами, поневоле навевали мысли о кладбище. И даже не зная о нём, можно было представить себе нечто связанное с потусторонним, как это рисует себе какой-нибудь мистический ум, пронизанный безутешным ужасом смерти.

Всё это было разительным противоречием тем обычным погостам, похожим на детские городки, куда почему-то всегда хотелось попасть. Там, вдалеке отовсюду, и вправду было много чудес — самая спелая и крупная ягода, густая трава, кузнечики и незакатное лето. В безмятежном тамошнем одиночестве будто бы можно было получить особую волю, глядя сверху и вдаль. Здесь были осень, запустенье и суетливая теснота: могилы стояли так близко, что протиснуться между оградками было нельзя. Порой они имели общую сторону, и тогда две могилы будто сливались в одну.

Ни ворот, ни дорожек, ни огады здесь не было. Забором служили обрыв и сами оградки. Теснота была такой, будто холм заполнили до отказа, а сосредоточенная в за-

мшелых деревьях, гнёздах, воронах скорбь была памятником и последним приютом смерти и времени. Холмы, дорога, небо отражали идею вечности и никуда не вели, так что всякое настоящее движение замерло, и можно было лишь вспоминать о нём и о прошлом. Оно, это прошлое, как бы приблизилось и оживилось, так что можно стало рассмотреть тех, кто пришли сюда и остались на много веков.

Что пережили они тогда? Быть может, что-то очень страшное, даже если считать это обычной битвой или кочевым набегом. Тогда-то, после былинного побоища, после того, как окопались, к норовцам, наверное, пришла мысль о том, что смерти и вовсе нет. Оттого и дома их приняли облик могил, а то ли могилы стали похожи дома. И хоронили иначе. В этом смысле они были самые оседлые люди. И путешествия их на дальнее кладбище было подобием марафонского бега, где олимпийская воля гонца имела значение жизни и смерти, к которым спесивая английская прихоть потом прицепила какие-то ярды. Тогда, мне кажется, и родилось некое подобие особой религии, главным условием которой была тайна. И опять, как в случае с однофамильцами, она только внешне совпадала с церковным таинством. Главное в ней было другое, что я только чуял, но толком не знал, не имея сил выразить это в словах.

Среди высеченных, написанных или даже намазанных надписей на могилах, не было ни Норовых, ни Норовских, ни даже Жуковых. Я удивлённо посмотрел на Сергея Петровича, но тот повёл меня дальше. Мы уже стали спускаться с холма, за которым текла речка, когда он показал на осыпь, обнажившую старинную каменную кладку. Морозы и ветер осыпали внешние кирпичи. За нею и находился тот самый «покут», где были похоронены древние воины, а потом и всё Норово. Теперь хоронить было уже некого. Мы стояли только вдвоём. Остальные разъехались и потерялись в сутолоке жизни, как имеют свойство в конце заповошного дня теряться слова. Но если их ещё можно отыскать щёлканьем пальцев или ещё каким-нибудь волшебнo-бессмысленным жестом, то найти тех, кто отсюда уехал, теперь уже невозможно.

Сергей Петрович, будто уловив мою мысль, вдруг заговорил: «Нас вот теперь только двое, ну да ещё ваша семья. А где остальные — никто не знает. Так что вот вам мой адрес, чтобы не потеряться».

Я сунул визитку в карман, в ответ написал на бумажке родительский адрес и стал прощаться: дальше, в Илюхино, Сергей Петрович идти не хотел. Барин пожал мне руку, чуть поклонился и ушёл за холм. Я повернул к Илюхину.

По расписанию до автобуса было ещё больше часа. Топтать скучную площадь не хотелось. Я купил сигарет и пошёл по дороге к Божецку.

Шёл я уже больше часа. Автобуса всё не было. Судя по всему, он должен был мне встретиться: не на колхозном же току у него остановка? А из Норова он приехать не мог.

Впереди и вокруг всё те же вздохи полей, согласно которым склонялась и поднималась дорога, та же жёлто-голубая кайма, тот же, ещё сильнее напитанный осенней влагой, воздух. Без расчета на попутку идти предстояло ещё часа три.

Если есть цель, то размеренная, неспешная ходьба никогда не утомит. Я уже думал, что если приду слишком поздно, то в Божецке зайду на автовокзал, посмотрю расписание, заночую в знакомой гостинице, а утром махну до Москвы.

Оставалось глядеть под ноги и по сторонам.

Просёлочные дороги обязательно станут достоянием грядущей науки. В них застревают все когда-нибудь потерянные вещи. Сначала они просто лежат, потом их поглощает распутица, а в сухие сезоны они вновь проявляются. Их натирают колёса машин, и от этого дорога порой блестит не хуже, чем любой «кремнистый путь». Вот потерянная пряжка от портфеля, сплюснутая пробка от пивной бутылки, вдавленный в прошлогоднюю грязь ломаный трак. Всё это уже давно и прочно скреплено с землёй. Можно постучать носком ботинка, отколупать и тут же бросить. Но судьба вещи от этого не изменится. Она вновь будет ждать осенних дождей, ещё раз сомнётся колесом и уйдёт в землю, в предназначенное только для неё

уютное место, чтобы остаться там до следующего ботинка или уже навсегда.

Всё, что лежит на поверхности, только ждёт своего часа или колеса — куда бы приткнуться. Вот обычная крышка от банки. Она — другое, её потерянное тело упруго и вдавить её в земную сухость нельзя. Потеряйся она весной, ей всё лето пришлось бы подпрыгивать под колёсами. Я поднял крышку, посмотрел и хотел уже бросить, но неожиданно для себя надел на два пальца и крутанул в сторону поля. Крышка полетела над придорожным кустом и затерялась в траве. Я даже вздрогнул от этого своего движения. То, что я сделал сейчас, было необыкновенно привычно и в то же время странно. Ведь после детства я тысячи раз видел крышки, но никогда не приходило в голову надевать их на пальцы. Последний раз я видел этот полёт лет двадцать назад. Здесь, на дороге он нежданно сошёлся с тем, что было столетием раньше, когда в неведомый путь отправился прадед. Что это? Память движения? Напоминание о прошлом? Быть может, тогда стояла такая же погода? Не то.

Скорее всего, крышка из детства среди бесконечного количества мелочей вспомнилась сейчас потому, что она удивила, как волны от камня в воде. Как может быть, что камень один, а волн много? Это случилось тогда, когда хотелось, чтобы что-то летало. И полетела совершенно доступная, не предназначенная для полётов вещь. Прекратили летать они лишь тогда, когда все были раскиданы, а родители задали трёпку за исчезновение целого вида этого обиходного, но дефицитного в то время предмета. Но главное — вывод: всё самое красивое порождается одним порывистым движением руки. Потому и брошенный в воду камень — доступное каждому волшебство. Но если в детстве оно только удивляло, то сейчас вызывает восторг.

В этом раскладе крышка от банки показалась мне лихо закрученной мыслью, которую тоже нужно было пускать по особой траектории, иначе мысль эта могла стать недалёкой.

Сама она, крышка — лишь способ ограничить пространство — перекрыть ему доступ к внешнему, а сорвать

её, значит дать малому возможность общаться с большим, подобно тому, как частное прошлое вдруг входит в прошлое общее. Из этого выходила некая математическая пропорция, подобная золотому сечению: соотношение своего настоящего и своего прошлого равно отношению своего к прошлому общему.

Невольно стали вспоминаться крышки разных сортов: «бескозырки» от молочных и водочных бутылок, пластиковые от дешёвого портвейна, а потом почему-то пробки и даже обломанный штопор. Все эти вещи были каждый раз внезапным напоминанием, без которого всё прошлое становилось коротким и безнадёжно плоским. Всё оно составлялось из нескольких слов-картинок, среди которых в безвольном беспорядке появлялись поочерёдно: то сосед-инвалид с безжалостным детским прозвищем Шлёп-нога, то дворовая яблоня с червивыми до последнего яблочками... А потом мысль опять возвращалась к крышкам, но уже другим, тем безвоздушно-чугунным, от которых всегда отводила мать. Они были началом таинственных подземных ходов. И сколько ни заглядывая внутрь, всё было тщетно: бурление воды и тёплый вонючий туман, сквозь который иной раз проступали колёса и шестерни таинственных механизмов. Интересы не умаляли даже падения знакомых. Сколько ни расспрашивал я друга Генку, что видел он там и куда ведут лабиринты, он только стыдливо отнекивался и, ссылаясь на тьму, увиливал от разговора.

Странно, должно быть, посреди дороги увлечься тёмой крышек. Но мне вдруг стало интересно, много ли на дороге таких «крышек» и какие они? Но никаких крышек под ногами больше не было, будто дорогу только что подмели.

Пока я думал о крышках, за спиной слышался какой-то механический вой. Он то отставал, то будто поднимался из-под земли и нагонял. Наконец совсем близко послышался треск и показался тот самый допотопный «Муравей», который я мысленно представлял себе по пути в Норово. За рулём сидел подросток лет пятнадцати. Не желая быть обсыпанным гравием, я отошёл в сторону и показал рукой — проезжай. Но «Муравей» остановился.

- Вам куда?
- До Божецка.
- В кузове поедете? А то автобус сломался.
- Поеду.

Я сел на рюкзак, уцепился за борт, и дорога потекла назад, помогая понять, как связаны время и скорость. Через пятнадцать минут парень высадил меня на виду у поста ГАИ, по-старинному насупился на деньги и повернул куда-то по объездному просёлку.

*

После Норова Божецк стал казаться мне чем-то вроде Вифлеема для истового паломника, так что каждый камень выражал то невыразимое, что дополняло и переполняло чувствами.

Я решил ещё раз навестить музей и вновь прошёл через парк. Единственная здесь могила с именем другого, пусть и придуманного, летописца, показалась будто насмешкой над тем, что я увидел и услышал в Норове. Музей, как это обычно бывает по вторникам, был закрыт. Я дошёл до станции, купил билет и сел в автобус. Всё повторилось: жёлтая полоса посреди дороги, шапка кургана, крутой поворот... Потом всё стало обычным: дорожные знаки, разъезды, рекламные плакаты, стаи встречных машин. Надвигалась Москва.

ПОЕЗД

Чем дальше на север бежал трамвай,
тем выше и гуще была зелень...

А. Гаврилов

Три вокзала окружают самую красную площадь страны. Тупиками, высокими платформами они говорят: здесь столица и начало путей. От площади лучами отходят железные «улицы». Они выходят за пределы Москвы, тем самым поезда превращая в трамваи, а маленькие городки на пути — будто в иные московские дома на обочинах долгих столичных дорог, делая всю страну бедным пригородом.

Перемены в Москве ошеломляют, но здесь, на вокзале, мало что изменилось. Всё те же ларьки, пирожки и жулики, та же сутолока у касс, то же разномастье лиц, то же удивленье кассирши: «До Городка? Какого городка?». И назови я его полное имя, очередь начала бы насмехаться, а кассирша, распознав издёвку, послала бы меня подалее и, быть может, прощай билет и дорога. Но я сдержался и объяснил, будто подписывая письмо: область, район, Городок...

Поездов в Городок идёт мало. Станция невелика и составов с надписью «Москва-Городок» не существует в природе. Сочетание это изредка, но тем не менее гордо несут на себе прицепные вагоны, в один из которых я и купил билет.

Нрав почтово-багажных, к которому прицепили вагон, слишком известен — они быстро едут, но долго стоят. Так что обычные три дня пути превратились в четыре.

Нет занятия бездарнее и глупее, чем сидеть на столичных вокзалах и ждать. Сперва поезд стоит где-то на сортировочной, потом объявляют путь. Его ищешь глазами, не веришь себе, идёшь посмотреть, там ли. Наконец, он подходит, но посадки ещё нет. Опять ждёшь и надеешься,

что большие часы на высокой вокзальной стене как-то застряли.

Перед закрытым поездом на пустынном перроне можно легко углубиться в тёмные философские дебри и размышлять о том, кто ты теперь — почта или багаж, но если выбрать более людное место, то чужая суэта здорово скрасит естественное нетерпение. Люди торопятся, стоя на месте, будто могут приблизить событие. Ожидание — мука, её нужно терпеть. Вокзал — давно не радость, а испытание. Наверное, так было всегда, когда ездили медленнее, но торопились не меньше. Быть может, именно там говорили — Бог терпел и нам велел? Надписи этой нет, вместо неё — ларьки с угощением и утешительным чтивом. Глядя на пустые пути, есть от чего загрустить — железная дорога, как бесконечный пешеходный переход, где рельсы только соединяют шпалы. Они — будто вечная память о тех, кто шёл всё туда же когда-то пешком, о бесчисленных Иванах, Петрах, Ермолаях, что открывали нашу страну. Шпалы — эта пародия одновременно на лычки и пешеходную зебру — будто намекают, что не все тут пока генералы и комфорт езды нужно заслужить, а не хотите — скатертью дорога.

Читать и закусывать дорого, и лучше бесплатно смотреть. Зима где-то рядом, но печки пока что не топят, и нет ещё той уютной угольной гари, особенно отчётливой ранними зимними сумерками.

*

Посадка, толчая, узкий последний вагон. Четыре дня он будет болтаться по рельсам и с женским постоянством передаваться от одного тепловоза к другому.

Моя полка — в последнем «купе», и в течение всего пути мне не будет ни сна, ни покоя. Многие теперь будут проходить мимо со скрытой завистью и неприязнью. И дело тут не во мне, а в том, что в поезде трудно или почти невозможно скрыться, и теперь я вынужден стать свидетелем множества тайн.

Ложь и правда здесь относительно, чем где бы то ни было. Случайному попутчику можно открыть то, что мы скрываем от других в неподвижной и размеренной жиз-

ни. Потому-то многие располагают к себе собеседников и валят им в уши всё, что ни есть у них на душе. Говори что хочешь, рассказывай о себе самое невероятное или запретное — он всё поймёт и всё благодарно выслушает...

Не все таковы. Мой сосед молчалив. Но он — до Казани, а дальше, быть может, подсядет другой. Попутчики выходят и входят, так что со временем от этой круговерти возникает чувство, что не они, а ты сам всё время переезжаешь с места на место.

Сомнительная привилегия крайнего купе вознаграждается доступом в единственный туалет — тот, что в начале вагона постоянно закрыт. Почти как хозяин, я могу даже утреннюю очередь пережидать с удобствами, сидя на собственной койке. Впрочем, на этом удобства кончаются.

Я кинул вещи под лавку, хлопнул крышкой, растянулся и стал смотреть, как сверху возится и никак не может уgomониться сосед. Мысль о том, что здесь невозможно скрыться, о соседе на полке вдруг сошлась с тем, что мы здесь похожи на книги, а поезд на передвижную библиотеку, где вместо корешков с узких полок свешиваются чьи-нибудь непричёсанные ноги.

*

Поезд трогается и набирает скорость, покачиваясь, как на волне. Связь с кораблём здесь чувствуется буквально во всём: от колыханья вагонов до гудков и формы проводников — этих сухопутных стюардов.

Хотя провинция начинается сразу, будто из Москвы выезжаешь через крепостные ворота, но иллюзия столичности ещё сохраняется в платформенной высоте. Совершенно исчезает она только спустя несколько часов. Начало пути похоже на незаметный прыжок в небо, словно до этого поезд набирал скорость и вот, наконец, взлетел. Так что платформы превращают поезд из старинного «парохода» в экраноплан — недосозданного инженерного монстра. Потому-то, быть может, и кажется всё «замосковье» таким маленьким и ничтожным.

Последний вагон — единственное в поезде место, где можно увидеть дорогу. Я выходил в тамбур и смотрел в

окно. Перспектива бесконечно сокращалась, пока поезд не поворачивал и не обрывал её вовсе. Но через минуту она восстанавливалась и опять длилась, будто бы я шёл спиной вперёд, а картинка попевала за мной.

Мой собственный путь, что поначалу крутился между столиц, теперь вытягивался только вперёд, как внезапно распутанный узел. И, вспоминая свои попытки разрубить его, теперь уже не сомневался — распутать важнее. Даром, что для этого нужно куда больше усилий.

Весь день сосед куда-то уходил. Очевидно, заводил знакомых в смежном вагоне. Я оставался один. За окном летели назад и вправо пригорки, ложбины, гремели невидимые мосты. А по низу лились вдаль и в сторону от пути реки. Мысли плыли почти всегда по этим извилистым течениям, вместе с ними поминутно срезались краем окна и восстанавливались в другом, чуть изменённом, но каждый раз всё более привлекательном виде.

Все эти мосты и поперечные речки вроде бы и противоречили мечтам питерского земляка, что вождедел доплыть до родины на какой-нибудь хлипкой «марусе», но мечта эта была и не совсем фантастичной.

На карте вся Россия в мелкую полоску рек, будто разделяющих её на часовые и минутные пояса, так что мне тоже всегда казалось, что все российские реки бахромой впадающих в них бесконечных речек, речушек и ручейков соединяются между собой, так что всю страну можно проехать по воде. Но многоводье её с подвохом — страна похожа на выкрученную в тщетном усилии выжать тряпку — все западные реки текут на юг, а сибирские — на север. Как видно, Сибирь у Великого Выжимальщика зажата в правой руке.

Смотреть в окно вагона можно почти бесконечно. Рельсовый стук считает минуты, те переходят в часы, а за окном всё так же длится узкое жёлтое полотно, похожее на невыразимо длинную, оставшуюся от прадеда карту Транссиба. Сибирь на ней начиналась в Варшаве и кончалась где-то в потерянном Порт-Артуре, южнее Курил, всё не желающих стать вождеделенной Тисимой.

Прогибы проводов порой совпадали с ударом колёс на стыках и казалось, что огромный челнок обшивает

эту жёлтую с синим канву. Заметили это и хохлы, что ехали в соседнем купе. Это стало понятным уже по первым, ещё не вполне человеческим тостам: «за Украину», «за незалежность», «за мову», словом, за всё, над чем смеются «поганые москали». Впрочем, как и все хохлы в мире, говорили они по-русски, в такт поезду подгэживая на каждом слове, и замолкая, когда очередной слабосильный москаль тащил по проходу тяжёлые сумки.

Стлалась, лилась за окном «жовто-блакитная» лента. И хохляцкая к ней привязанность уже не казалась такой непонятной. Их государственный прапор был взят прямо из жизни. Он определял и время, и путь. Как перелётные птицы, они, собрав жатву, садились на поезд и ехали в другие края за другим урожаем. И этот вырезанный окоёмом окна прямоугольник с салом на вилке, бесконечно отличал их прапор от барбадосского флага. Хотя, кто знает, быть может, там для них последняя станция и лучший приют?

Я ехал и думал. Множество встреч и событий последних дней отправляли меня в неизмеримые прошлые дали — туда, где я уже был, но куда снова попасть никогда не сумею. Ведь здесь мы совсем не туристы. Мы не можем выбирать, а только следовать за неким неведомым гидом. Он молчит, но сами места, что мы посещаем, говорят нам за себя и своими голосами. Или это наш гид, подобно сатирикам, переиначивает голоса? Но тогда уж нужно думать, что он как-то невообразимо талантлив. И тогда почему он работает гидом? Впрочем, зовут его не Марленой, и потому не хвалит он ничего. Он только показывает нам лучшее, которое мы не можем оценить по своему малолетству, а понимаем потом. И то ли вера в его слова столь сильна, то ли мы просто скучаем по нему, но всё, что мы вспоминаем, нам неизменно дорого...

И опять я смотрел за окно и вспоминал, что в детстве особенно любил всякие столбы и опоры. Они казались проводниками неведь куда. Но если провода за вагонным окном убегали куда-то назад, то провода опор тянулись вперёд — в неизвестные дали, названия которых складывались из непонятных букв на боках вагонов.

Чем дальше летел поезд, тем, казалось, всё сильнее наступала осень и будто меняла породу: уходила назад плаксивость тонких российских берёз. Они наливались, деревенели и понемногу становились корявыми, косматыми деревьями...

*

Поездной туалет резко отличается от всех остальных сравнительной чистотой. Обычно туалеты у нас не моют по самой незатейливой логике: а что их мыть? — там же всё равно дерьмо! Не то здесь. Эти убирают по расписанию и в самый неподходящий момент. Вот и сейчас я уже было собрался с духом, как мимо прошла проводница с ведром и хлопнула дверью — уборка. Я сидел на полке, ждал окончания и уже ловил на себе щекотливые взгляды соседей.

По сути, вагонный сортир — это гальюн, дырка на волю, простое старинное устройство, от которого, чтобы избежать конфуза, давно отказались на флоте*. И только здесь ничего не возят с собой, так что железная дорога — полоса плодородия. Быть может, поэтому и зарастают с такой быстротой оставленные линии. Страх перед этим не даёт замереть движению, и потому железная дорога — самый надёжный транспорт.

Будто на тысячу километров протянулась взятая ещё на причале мысль. Всё было так же, но колыхалась под ногами не палуба. И становилось понятно, что моё тогдашнее воображение странным образом удалило из памяти

* Быть может гальюны — морские уборные старинного устройства — и существуют где-нибудь на туземных парусных лодках, но цивилизация повсюду отказалась от них. Как говорят моряки, произошло это в результате ошибки. Камбуз — корабельную кухню, что также находилась в носу корабля, один из пассажиров перепутал с гальюном, отчего и вышло то, что мы называем конфузом. На этом история обрывается, но очевидно, во избежание путаницы, одно из заведений убрали, сделав из него ещё один склад. В этом виделась бы известная застенчивость моряков, не пожелавших подписать самое нужное место, но масштаб перемен заставляет предполагать невидимую, но сильную руку, что организованно действует по всему миру. Чья она — доподлинно неизвестно, но сам стиль выдаёт организатора с головой. Как за 11 сентября стоит бородатый Бен Ладен, так за корабельной уборной — могучий Грин Пис.

этот запах, с которым не может справиться ни проводница с мылом и хлоркой, ни даже ветры самых чудесных и дальних стран.

Уборка затягивалась, и, думая всё об одном же, я вспомнил все те туалеты, сортиры, гальюны, нумерованные горшки на ясельных стеллажах. Всего этого было много. Их можно было бы коллекционировать. Для этого не нужно было строить какой-то особый музей — всё сохраняла память.

Хороший туалет — место творчества и свободы. Он избавляет от умственной пробки, так что на несколько минут приоткрывается какой ни на есть, но талант.

Коммунальные, с гроздьями лампочек и расписанием посещений, вспоминать не хочется. Эти коммунистические тупики, задним числом устроенные в торцах старинных барских квартир, столь же бездарны, как идея поближе придвинуть их к кухне. Там не читают — рекламный глянец в фанерной коробке почтения не вызывает даже у глаз.

Куда лучше — деревянные, простой, незатейливой архитектуры. Они, эти откровенно-застенчивые места — первые здания. Говорят, цивилизация начинается с них. Не иначе как там придумал поэт своё вдохновенное: «сюда не зарастёт народная тропа»... А, может быть, и писал он о них, точно так же, как приветствовал младое племя в лице трёх сосен, а вовсе не пытливых советских пионеров. Не вчитались, не поняли. И вешало школьное начальство этот лозунг на стены каждого класса, в нём, как в зеркале, отражая только себя.

Не то Мастодонт в Городке. Из деревянных сортиров он самый основательный и так высок, что кажется двухэтажным, за что и прозван неповоротливым именем древнего слона с вислыми от тяжести бивнями.

Он знаменит своим видом. Здесь — место мечтателей и даже поэтов. Стоит он над самым обрывом. Подойти к нему сзади нельзя, и, может быть, потому задней стены у него нет. Так что вошедший сначала подолгу смотрит на реку, а потом садится к двери спиной и начинает мечтать.

Стены Мастодонта исписаны сплошь, так что не знаешь, что есть первопричина таланта — то ли искра его

умножалась на вид, а то ли образ востока разгонял дарованье.

В Мастодонте охота остаться подольше, но рядом вокзал и задержаться можно лишь на заре. Стоит чуть затянуть, и вот уже кто-то ломится в дверь.

Мастодонт — один. Но родина велика, и много в ней домиков на отшибе. По сравнению с Мастодонтом, этим неторопливым лайнером, все прочие — юркие глisse-ры. Всё в них для скорости: вид, место и смрад. Потому что в них меньше поэзии и больше простого похабства. Но оно — не от испорченности природы, а знаменует юношеское начало в таланте. Всё здесь намёк — поспешай! Всё для того, чтоб прожить без задержки. Но если бы временно очистить воздух и «повесить» картинку, чтобы новый творец задержался подольше, язык наш пополнился бы чем-нибудь совершенно особым.

Да, таков туалет в своём первозданном и законченном виде. Даже утопическая грёза о золотом нужнике на Красной площади не внесла в него новшеств. Мелодия гимна не давала бы засидеться. Позволить себе раздумья можно лишь дома.

Не то иностранцы. Эти пользуются туалетом без задней мысли. Полжизни в сортире требует чистоты. Странно, что их унитазаы и вовсе не предназначены для главного. Вся красота линий, все новейшие технологии рушатся после того, как из воронки с голубоватой водой летит в твоё самое нежное место ответный фонтан. И всё решается просто — расстеленной на воде салфеткой.

Наши — другое. Они — инструмент гигиены: наклониться, рассмотреть и увидеть то зло, которое привело тебя сюда с ошеломляющей силой, подобной амоку, этому смертоносному малайскому бешенству. Кому не знакомо оно, нарушающее все приличия и запреты, отрывающее пуговицы на пальто, стучащее уличной обувью по коврам и паркетам и врывающееся без пропусков и условностей в любые конторы? Прежний стыд становится чем-то ложным и глупым. Прочь размеренность! Скорость — вот спаситель и высшая правда. Терпение здесь аморально, оно — совершенная глупость, способная привести к катаклизмам. Ведь

если бешеные малайцы лишены покровительства законов, то наш Набоков лишил силы закон. Кто знает, что было бы с нами, если бы на коронации Последнего Николая дедушка литературного фальшивомонетчика сбросил сановную спесь, подхватил бы корону под мышку и кинулся в укромную темноту, а не измарал мундирных штанов?! Провидцем был автор «Вестника Европы», когда за годы до этого писал о нём, как о капитане, что выбросил за борт часть груза, чтобы спасти остальное. Сказано верно, ошибка в трактовке — «остальное» оказалось наименее ценным. Перед конфузом создателя бессилён даже Закон. Наверное, куча фекалий на астраханской площади, позднее так удивившая английского философа, была не только зарёй конструктивизма, на фоне которого гипсовый костромской Иуда был классикой жанра, но и памятником семейству экс-министра финансов. Но всё к одному: в образе — честь, по сути, насмешка. В конце концов, и то, и другое простояло недолго — преданных дураков не любит никто...

Хлопает дверь, проводница идёт обратно. Я — первый и пусть себе хмурятся все дальние и ближние — покупать билеты нужно уметь!

*

Стульчак в поездном туалете — совершенное излишество. Он неизменно крепится при сборке, но прикладного значения не имеет — сесть на него невозможно. Он — то ли память лучших времён, то ли веночек на безвестной могиле инженера-поэта. А, может, это особый психологический трюк, вроде приправы — усилить желание поскорее добраться до дому. Только там можно присесть без брезгливости и опасений упасть. Здесь равновесию служит косящая железная ручка.

Странно, что «удобствами» у нас называют, в основном, туалеты. Они наименее неудобны, за что ни возьмись. Вот и сейчас: уборка воняет ядовитой хлоркой, а потом всё время дерьмом — не засидишься! Я вспомнил Рокаса, его негодование по поводу наших сортиров, и задорно подумал: «Пусть негодуют, лишь бы боялись. Уже одно это остановит на границе почитателей дефекального комфорта».

И снова окно. За ним пролетает огромное скопище стран. На карте они кажутся островками. И только по мере приближения они увеличиваются, будто замедляется скорость. Невозможно отличить одну от другой. Границ нет, и только давно позабытая география могла бы сказать, где мы: на Черноземье, в Татарии, на Урале. Образ народов можно бы представить себе по названиям. Но это обман. Слова совпадают случайно. И давно ясно, что в Англии ангелов нет, Италия не помешана на гимнастике, а Франция ничего не носит в ранце. И любое совпадение звуков объясняется только иностранным недоумением. Ведь обычно эти языки не перепутаешь ни с чем. Говорят на них по-своему — справа налево или просто меняют буквы местами.

Всё здесь так, как в географическом лото, где нужно было накладывать карточки с именами гор, рек и стран на вопросительные квадраты. Некоторые были потеряны, и оставалось гадать о величайшем русском открытии или о том, из какого озера вытекают две реки. Это потерянное будто вернулось сейчас: граничит ли Башкирия с Мордовией? Пуховые платки будто бы говорят за Башкирию, но финские лица мастериц твердят совершенно другое.

Эти платки особо удивили бы очередного Кюстина, что описал бы их в своём новом навете как предвестье Сибири и злую насмешку властей — сослать и охранить от вечного холода с тем только, чтобы продлить мучения. Но, возвращаясь домой через Владик, он никогда не узнал бы, что их продают и тем, кто едет обратно. Они связаны не с Сибирью, просто Мордовия — по дороге домой.

Железная дорога не даёт представления о размерах страны и расстояния измеряются временем. «День пути» — та же мера, что километры. Это окончательно проясняется на азиатской границе. Казалось бы, стоит подъехать к Уралу и промежутки между станциями должны многократно увеличиться, а сами станции сократиться до точек на карте. Но это, конечно, обман. Станции не становятся меньше и людей ровно столько же. Просто все селения здесь жмутся к дороге. Но если перекинуть взгляд через них, то можно увидеть пустыню.

Как дети рисуют волны кривой синей дорожкой, совмещающая её с доньями своих кораблей и оставляя по краям белое поле, так и «железка» — та же волна с бесконечной равниной по сторонам. Зимой она представляется настоящей пустыней, где снег заменяет песок, а вода и тепло в ней — богатство. И потому, когда уже выпиты горилка и водка, пассажир, как конь на возвратном пути, горячит себя чаем, вприкуску с белоснежным десертом за каждым окном.

*

Ссловия давно отменили, но в поезде они есть. Начало путей — хитрый железнодорожный мозжечок, от которого я отъехал — разводит противоборствующие классы по разным вагонам и властвует над ними пряником и кнутом. Кнут достаётся общим вагонам, а плацкарта, чтобы не платить за дорогие пряники, предпочитает то и другое лишь нюхать. Мечты о лучшей доле только тлеют и вполне безопасны. Из всего набора революционных захватов покуситься здесь можно разве на бойлер. Как в купе подспудно грезят о разговоре и каком-нибудь деле, так и в плацкарте мечтают о купе, куда чай разносит специальный чайный человек. Там не надо ждать у нагревателя, изображать из себя моряка — искать шаткое равновесие в опасении вылить чай на соседа. Зато плацкарта — это наука радоваться всем мелочам, а не только большим.

Лучшая чайная доля в первом полукупе. Тем самым оно сходится с последним. Рекламный ролик жизни: поесть — родиться, оправиться — умереть. Вагон — как ущербная шахматная доска: ходить здесь можно только прямо или буквой Г. Так что все пассажиры — некая смесь туры и коня. И хорошо, если партия не закончится до конца дороги, когда взбешённая «тура» бежит к начальнику поезда, чтобы обрушиться на него восьмиэтажным, по счёту клеточек, матом.

Дорога — костяк страны. Она накладывается на карту извилинами центральной России, продолжается хребтной Сибирского пути с редкими рёбрами веток и длинной ногой. Вторая — «Маньчжурия — Харбин — Порт-Артур» давно отнялась.

Понемногу эта «костяная» мысль обрастает плотью, подобно тому, как некогда в чьих-то неизвестных головах принимали вид и имя созвездия. Но, как трудно уловить мысль звездочётов, почему те звёзды — Весы, а эти — Кентавр, так здесь всё легко. Ведь ещё в школе при взгляде на карты кому не казалось, что Новая Гвинея похожа на петуха, Италия на сапог, Скандинавия на амурского тигра, Украина — на присевшего по нужде бегемота, а Сахалин — на Рыбу, которую поймал, но не смог уберечь старый Сантьяго. И понемногу мир переходит в картинки. Стоит отнять — и несовместимое распадается. Расчленённый Союз из подогнувшего передние ноги коня становится лежащим на спине рентген-человеком. Сквозь прозрачную плоть видны извилины мозга и позвоночник пути.

Посреди мечты — остановка. Поезд тут же трогается, но в проходе слышны шаги. Они всё ближе и теперь, может быть, я не один. На подходе семейство: муж, жена и девочка лет тринадцати. Папаша деловито поднимает нижнюю полку, ставит багаж и оборачивается ко мне. Я уже понимаю, что сейчас меня будут теснить. Жена и дочка ждут. Девочка изображает утомлённую невинность и с размаху садится мне в ноги. Надежды случились. Но всё не так. А как? Чего я ждал? Что в купе подсядут хлебосольные селяне или разговорчивая старушка — вдова офицера-героя? А, может, прекрасная незнакомка? Но вот же она. И кто скажет, какой она будет лет через пять? Это сейчас она ковыряет в носу, обкусывает губы и сеет по углам неприязнь: к поездке, родителям, порученной сумке. Она так и норовит уронить её или ударить ногой. Вот, нарочно поставила в проход: вдруг неуклюжий хохол споткнётся и хлопнет бутылку с вареньем?! Микола, уже почти Николай, и вправду встаёт и идёт в туалет. Девочка затягивает ноги на покрывало и ждёт. Но хохол осторожен и ловок — бутылка остаётся в живых.

В ответ на поползновение папаша сутулюсь и старю лицо. Угроза легчает и поднимается вверх.

Девочка пытается занять низ, но отец повелительно хлопает по полке. Она не слушается и со злостью смотрит ему на лицо. Отец ли он ей? В каких отношениях находят-

ся все эти люди: раскисшая уже и порядком обабленная дама со складкой на шее, девочка и их повелитель.

Борьба за нижнюю полку продолжается. Кого я буду наблюдать снизу? Неужели его?

Я уже понимаю, что непременно узнаю всю их историю из первых рук, но всё же пытаюсь решить для себя, для пустого интереса — кто они: эта девочка, дама в «аляске», мужик в пиджаке на спортивную куртку...

И мне кажется, что все они — люди друг другу чужие. У них нет общих черт. Особенно это видно по девочке. Она всё делает поперёк. Но кто-то должен быть её родственником. Конечно, дама — её мать. Отсюда и противоречие на каждом шагу. Она не хочет быть похожей. Но удастся ли отделиться?

Даме лет тридцать семь. Она из тех, измотавших саму себя вечными сомнениями, недоумением, злостью. Быть может, она и пыталась что-нибудь сделать. Но сил бороться с всемогущей воронкой, что засасывает людей в себя, не хватило. Уже давно она малодушно опустила руки и теперь носится по кругам житейского «мальстрёма». За прошедшие двадцать лет она так и осталась никем. Что помешало? Скучные способности? Отсутствие идеалов? Точки оттолкновения, отвращения? Вот у дочери она есть. И мать для неё — это даже не точка, а клякса, что пытается молодежавой одеждой утянуть свои обрюзглые формы и скрыть укоренившийся в морщинах глубоко порочный образ повидавшей виды стареющей дамы.

Она присоединяется к мужу, и в купе становится тесно от громких фраз. Тушуются даже хохлы.

Выяснение отношений редко что-то решает. Это тот процесс, который идёт сам по себе. Он почти всегда собирает густые тучи, под которыми не видно земли.

В бесцеремонной манере новых соседей включаю радио. Розенбаум. Но это не лучше. От его «пожилых» песен тошнит уже через минуту. Будто в ответ на это девочка подчиняется и раздражённо лезет наверх, к «стене просвещения». За нею кашляет, охает и плюётся хохол.

Повелитель деловито прекращает воспитание, одобрительно прибавляет звук и протягивает руку:

— Вова.

— Всеволод, — жму я в ответ.

— Ну вот, почти тёзки, — недоверчиво еще шутит он. — Покурим?

Он снимает пиджак, и мы выходим в тамбур. Железный грохот бывает лучше иных симфоний.

Будто заподозрив меня в сомнении, он начинает объяснять и за две сигареты оправдывает мне всю свою жизнь. Я узнаю, что ему 32. Что он — торговый агент. Что женился три года назад. Что Надежда старше его, но в приданое светил дом. Бить клинья начал так, наудачу. Те развелись, женился. Но пока суд да дело, муж возьми да удавись. Страховку за кредит не отдали, и приданое оказалось следствием с долгами. Ближайшие двадцать лет — кабала. Дом, конечно, хорош, но морально устарел... А тут ещё Марианна — довесок.

Я слушаю это всё, глядя в окно, и перекладываю прежнюю перспективу уже на него, на неё, на них. Они всё надеются, а она всё уходит. И нет такого закона, который бы повернул её вспять.

Идём назад. Новый сосед поднимает с полки жену, роется в сумке, вытаскивает какую-то сшитую из клиньев скуфейку, отдалённо похожую на папскую тиару, надевает и лезет наверх. Полка скрипит и проседает. Будь это кино, где-нибудь сверху замигала бы надпись: «Опасность».

Забираюсь под одеяло и пытаюсь продолжить прежние мысли. При взгляде на Марианну мечты путаются, но зато приобретают формы.

Урал — чуть набухшая грудь девочки-подростка. Под головой — подушка. Она подтянула ноги, положила на колени журнал, сосёт соломинкой из банки зелёный коктейль. Жизнь её ещё коротка, и всё в ней — игра. Но взрослые уже видят её подобной себе. Ей уже примеряли «тиару» отчима, но она мечтает о диадеме отца — Константина. А отчим всё хочет занять его место, и диадема упрятана в шкаф. И будь они настойчивее, внимательнее, хитрее, быть может, она бы и делала так, как они захотят. Но зорка только она. Вся её настоящая жизнь в одном:

пока никто не видит. Она уже пощеголяла в материнской «аляске» и длинноносых калифорнийских туфлях. Но, видно, пока рано. Она ещё слишком мала. И дела ей нет до сползшего гетра Камчатки.

Марианна — будто два имени. И первое ей пока не идёт. Сейчас она именно Анна — бойкая, скандальная, черноволосая «выдерга», способная на коварство, подлог и даже убийство. И мне представляется кровавый сюжет Гамлета в юбке, который со злой ненавистью протыкает соломинкой мать вместе с Вовой. Но и она понимает, что это только пустая мечта — соломинка никогда не превратится в шпагу. Пока защитить её некому. А может быть, стоит лишь подождать, окрепнуть, и всё будет иначе? Дом перейдёт к ней; матери, конечно, пуховую перину и дальние путешествия; а отчима в подвал — на цепь, на хлеб и на воду.

Дом стар. И кто прежде здесь жил — неизвестно. Так что всё кругом — тайна. Она уже нашла старый подвал и облазила ближний чердак. Флюгер — маленький мишка, ей по душе. Он заржавел и смотрит на север. Так что, если отчим не смажет его, в этом доме всегда будет дуть южный ветер. Он — всё та же надежда: не переменится ветер, быть ей царицей. Но всё это — только мечты.

За дом платить ещё долго, может быть, до тех пор, пока она не станет такой же, как мать. Платит пока не она, да и не будет он её домом. Она уже затаила главные мысли — уехать и никогда не возвращаться.

По тому, как Марианна стискивает ноги, я чувствую, как отчим косится на неё с раздражённым сладострастием, и вспоминаю эту «моральную устарелость» их дома. Но дом здесь вряд ли поможет. Мне жалко девчонку, но ничего не поделаешь. Там своя жизнь, свои порядки, свой путь. В конце концов, всякий решает по-своему: как, кем, с кем и где ему быть...

А пока она лежит на спине и смотрит в точку на потолке, которая кажется ей вожаделенной звездой. Потом обида пройдёт. Взгляд перекинется на журнал. Но читать она не будет. Разве посмотрит картинки. Её мучает какая-то подспудная страсть, ей чего-то хочется, но чего именно — эта венценосная Лолита не знает. Жур-

нал упадёт на живот, которым когда-нибудь прирастёт Марианна. Кто только будет разрабатывать это богатство? Не этот ли отчим в скуфейке? Вряд ли. Тогда — точно убийство.

Но, Марианна — не имя царевны. Царицами с таким не становятся. Хотя чего не бывает. Всё меняется. Ведь даже пустыня за окном скоро уже будет домом.

*

Утро. Поезд подходит как бы к почтовой столице. За окном пути, стрелки, опоры, провода, старинный паровоз в тупике, депо, и дальше потянулись составы. Ждать здесь долго. Отцепят и поменяют вагоны, подгонят новый локомотив.

Станция с одним из тех названий, которые невозможно запомнить. Главное украшение — старый вокзал. Он из тех станционных строений, которым за сотню лет. Этот старинный, одинаковый стиль был единственным, что сохраняло в неприкосновенности тот самый Великий Сибирский Путь. Вокзалы Транссиба — нечто среднее между китайской пагодой и гарнизонной казармой, где загигать кончики кровли по уставу нельзя. И такой вот китайско-казарменный стиль тоже объединяет крайние точки. Даром что гарнизоны давно не стоят в Варшаве.

Глядя на станцию из окна, можно заниматься чем угодно. Самое простое — чтение непонятных слов на боках вагонов. Читая эти русские буквы, понимаешь вовсе не то, что они действительно значат, так что выходит совершенно иностранный язык. А те, кто мог бы перевести, то ли совсем никуда не ездят, то ли для них существуют особые поезда. Их никогда нет среди пассажиров. Как видно, они не тратят положенные им льготы на бесплатный проезд и тянут свою лямку, как великую службу — не для наград, но для всеобщего блага.

Станции вводят в сомнение. На каждой из них своя жизнь. И даже если в стороне от пути встречается одинокая хибарка с дымком из трубы, до которой от ближайшей станции ехать и ехать, там всегда живут люди. Как живут и что делают — непонятно. И порой откуда-то падает

мысль — остаться. Но это — подвох. Оставаться нельзя. Нужно ехать туда — до конца.

Семейный рассказ: эвакуация. Месяц пути. Телячий вагон бесконечно отстаивался на полустанках — пропускал составы на фронт. И главным богатством был кипяток. Соседи по вагону — чернявая семья из Херсона. Глава — Иосиф Борисыч — толстенький и бойкий, жена — Наина Семёновна, близнецы — Аркаша и Лев. Иосиф Борисыч никогда не расставался с округлым чемоданчиком, и театралка Мария Игнатьевна за то, но и за сноровистость, быстроту и брюшко прозвала его впоследствии модной балеткой. Поезд остановился на станции N. Соседний путь был свободен, и у вокзального здания дымил вожделенный парок. Невзирая на семафор, Балетка рванул за кипятком. Он уже подбегал к очереди, когда дали зелёный и на путь медленно встал фронтовой товарняк. В его вагонах сдержанно шумели, платформы под брезентом рисовали стволы и колёса. Мерный стук сапог часового. За вагоном глухой разговор и шаги. Балетки всё нет. Тишина. Ожидание. Волнуются все: Наина, близняшки, спутницы-дамы. Лица поочерёдно выглядывают из раздвинутой двери.

Вагон тронулся так тихо, что показалось, уходит военный эшелон. Глухие звуки разговоров затихали, а вместе с ними неторопливо уходил и часовой. Балетка показался в далёком просвете, когда паровоз уже набирал скорость. Он бежал так, как будто за ним гнался убийца. Сыпался и отлетал в сторону чуть прибитый морозом гравий. Кипяток хлестал по штанам. Пар смешивался с паром дыхания, так что Балетка был весь окутан им, напоминая собой малорослый, но проворный паровоз. Он почти настиг вагон, когда тёзка-чемоданчик открылся, и оттуда посыпались какие-то разноцветные пачки, похожие на карточные колоды. Встречный ветер рвал их, и синие, красные фантики разлетались по ветру. Деньги. Растерянность на лице, чайник в руке. Но Балетка только прибавил ходу. Наддал и паровоз. Ненужный чемоданчик полетел в сторону, и вот уже восемь рук втаскивают бедного Иосифа внутрь. Вместо лица — испуг, штаны мокры, в руках пустой чайник.

Полчаса бледный и мокрый Иосиф лежал плашмя и только хрипел. Рот его пенился чем-то коричнево-красным. В тот же день он бросил курить. Неделю молчал, укоризненно глядя на небо. Потом рассказал, как его не пустил часовой, как он бежал, как лопнул замок у балетки... Теперь уже замолчала Наина. Дальше были две недели тишины. Что думал тогда Иосиф Борисыч? Чего он так испугался? Теперь не спросить. Впрочем, кто знает, что случилось бы, не догони он состав? Долго бы прожил Балетка со своим «кошельком» один на станции военного времени? Что бы делал он там? Выпил бы весь кипяток? Подженился на солдатской вдове? Стал бы завмагом? Был бы взят патрулём и расстрелян, как диверсант?..

Вагон оживлённо загалдел, зашуршали газеты; сало, хлеб, картошка и вся ещё богатая снедь полетела в сумки. Соседи уже собрались. Ещё чуток, и они уже дома.

Провинциальные перроны не созданы для мечтатель — смотри под ноги, ты на земле.

Остановка длиной в шесть часов. Всегдашняя проблема — найти, чем заняться. И благо, если она не случается в воскресенье. Смешное слово. Для нас, земных обитателей, почти ад, где всеобщее безделье заводит в тупик все желания. Не то, конечно, на небе. Там всё исполнено и забыто, и знай себе, лежи на софе, стаи которых пролетают над головой.

Продавцы на перроне — полная противоположность старинным купцам. Не они, а к ним привозят покупателей. Им лишь остаётся поджарить пирожки, семечки, запастись пивом, лимонадом, леденцами и выйти. Они выходят так круглый год, много лет подряд, и от этого складывается какая-то особенная, благожелательно-равнодушная манера: возьмёшь — хорошо, не возьмёшь — ну и ладно. Говорят они странно — сквозь губы, отчего глотаются звуки, будто ветер залетает им в рот. И способ понять их — перевести взгляд на товар. Хохлы — эти «харчовые мастаки», презрительно смотрят поверх продавецких голов и степенно говорят о чём-то своём. Эти вечные путешественники знают: путного здесь не купить.

Странно смешанны лица у местных. В них черты многих народов. И этот вавилонский итог тем более смешон

ввиду отсутствия и намёка на башню. Урал — вроде фильтра. Из тех, что бежали дальше, кто-то остался, женился, прирос, а остальные, будто очистившись, пошли без оглядки вперёд. И там, дальше, у нас немцы остались немцами, русские — русскими, татары — татарами. Дальняя дорога сблизила их по-другому. В Сибири уже нет ни товарищей, ни господ. Все — земляки.

Через рельсы в город. Впрочем, это не город, а поселение. За станцией — громадная, больше похожая на пруд, лужа. Обойти её можно только по окольным кривым переулкам.

Иду вперёд, в надежде найти то ли местное чудо, то ли ещё что-нибудь из того, чему можно если не удивиться, то хоть оставить на память. Не всё же так плохо?! Но нет ни музея, ни приличного магазина. Несколько часов кривых заборов, чуть подсохших обочин и пустоты...

До поезда оставался какой-нибудь час, когда я вспомнил, что где-то здесь, на этой, вроде бы, станции, почти век, как умерла прабабка. Шевельнулось желание — пойти, отыскать, постоять. Увидеть забытую навсегда могилу. Но невозможно. Полчаса, и снова дорога. Да и не та это станция, а если и та, то давно уже нет ничего — слова «хоронить» и «хранить» давно разошлись по разным углам...

Тогда, в 19-м, прадед получил назначение в столицу. Но сколь скор телеграф, столь же нерасторопны поезда Гражданской войны. История смутна. Жена заболела почти сразу. Где-то чуть дальше Перми начались горячка и бред. Не помогли ни бумажки с новым инструментальным гербом, ни любовь к сыновьям, ни молитвы... Бог милостив — тиф неумолим.

Остановка. На последние деньги — к врачу. Поздно. Попа нет, но весенняя могильная вода сводит воедино крещение и отпевание. Перед «погружением» новый обряд: платье режут на полосы — теперь не разденут, не украдут.

Задержка стоила места. Вдовец и двое детей застревают на станции с лужей. Новый приказ из столицы: — оставаться на месте. Жильё, кабинет. Два месяца — и расторопная пишбарышня-секретарша становится новой женой. Жизнь немедленно попадает в редакцию: фото,

там, где с покойницей новенький муж, любовно обрезаются, как потом вырезались висевшие над его головой портреты грешных вождей. Все другие, где только она — летят в печку. Обман столь искусен, что дед только на пенсии обнаружил подмену — мать в перемать. Но всё уничтожить нельзя. И несколько фотографий остались в столе под старой газетой, которой, будто ради одной чистоты и порядка, были высланы ящики.

Поезд гудит, проводник торопит. Коробейники в последний раз идут на приступ, но отступают.

Сажусь на полку. За стеной — разговор. Новая бабка угощает хохлов домашними пирожками. Лежу и завидую. Почему не ко мне, почему к ним подседа старушка? Но плацкартное одиночество — невозможная вещь. Лежу и слушаю этот разговор за переборкой. И начинаю думать о бабках. Пройдя все этапы, — от девичьей глупости, женского упрямства, материнских забот, поклёванные и побитые мужьями и жизнью, они уже оставили в покое всё то, что мешает жить. Женского в них почти нет, и поэтому слушать их интересно. Уютные старческие морщины, будто мозг на лице. От этого и самого разговора кажется, что думает она только лицом. А потому ей нечем лукавить, не о чем и незачем врать.

«... вот так и чесался. Спросил Катьку, жену, дочку мою: посмотри. А она говорит: бородавка. Месяц, другой — бородавка растёт. Уже и спать неудобно. Он к врачам. Те, дескать, вырезать надо, а то, кто его знает, может вылезти рак. Мишка и согласись. Лёг в больницу. Резанули. А через неделю он и помри. Вот так. Молодой. Тридцать пять и уже на покой. А тут уж не знаешь, куда деваться. Да я вот три дня, как у попа обходную взяла. Скоро, глядишь, тоже туда повезут, а пока попроведаю внуков»...

За окном меркнет. Уже поздно. Валит усталость. Закрываю глаза. Бабка ещё что-то бормочет. Но вот голоса нарастают и слова теперь непонятны — *ропа кимать, полумеркот, рыхло закурещат ворыханы*. И чуть погодя — *да позагорбил басве слемзить: гируха басвинска ухалила дряботницей*. Это даже не мбва, не суржик, а чёрт знает что. Очевидно, подсел кто-то из тех — коробейников. Они и вправду какие-то странные: не татары и не русские, так

что чёрт их поймёт. И как он втесался к хохлам? Гоните его, не жрите этой дряни, а то не видать вам больше ни горилки, ни сала, ни дальних прекрасных краёв.

*

За окном тянутся низкие горы. Красная громадная луна висит на плече. Она освещает удивительные выпуклые, перекинутые через пропасти, похожие на римские виадуки мосты. Избушка — единственный сторож этих неведомых мест. Из года в год она исподволь вытягивала мысль о возвращении. Я ненароком думал — уехать, остаться здесь и только смотреть на поезда. Но потом понимал, что эта всё та же бесконечная дорога. Ведь и в Питере мимо окна проезжали шахи и президенты, провозили кости царя, а я был только свидетелем. И эта избушка становилась не человеческим жильём, а чем-то из страшных угорских сказок, только остановкой во времени, одиноким и вечным вагоном.

И каждый раз эта избушка, и луна, и мосты, грохот тоннелей и колёсный стук будто выговаривали что-то, напоминали, дразнили хохлов, говоря: жовто-блакитный, жовто-блакитный... Жёлтый свет памяти и голубой — детства. Между ними, как граница, через которую перекинут мост.

То же было теперь и со снами. И фраза эта была будто одна и та же, но всякий раз поворачивалась по-разному. Она словно длилась. Но время сместилось. Сна не было. Он только бежал, догоняя нас и, подобно страшным грёзам Балетки, никак не мог запрыгнуть на подножку.

Иногда вместо снов нас посещает какой-то невидимый небесный собеседник. Приходит он не сам по себе, а когда что-то особое трогает и заставляет прожить прошлое дважды. Разговоры с ним всегда помнятся утром, а иногда застревают навсегда. Для этого нужно, чтобы мысль перешла в сон. Так и теперь, когда в быстрое окно глядит неторопливая и равнодушная луна.

Она отразилась в избушке, сорвала меня с полки и кинула к мосту. Я будто бегу через пропасть. Деревня. Мама и бабушка у стола. Дед на кровати. Уже не кашляет, а хрипит — умирает от рака, но не сдаётся. За поздние прогулки я «арестован» и сижу на печке. За окном странно света-

ет. Охота выскочить, и я машу бабушке. Она прикладывает палец к губам. Под прикрытием взрослых выхожу на улицу. Над холмами красный свет. Идём тёмной дорогой. Над холмами встаёт край луны — непомерный красный горб. Всё вокруг залито его светом. Видно, как в овраги сливается пар. Кузнечики тихнут. Мы стоим у прясла и смотрим. Тишина. Что-то случится. И будто бы кто-то отчётливо говорит мне: запомни, этого больше не будет. Чего не будет — не понимаю и отношу «это» к луне. Она дрожит, как налитый водой детский шарик. Ещё секунда и лопнет, затопит вокруг. Бабушка опасливо трогает за плечо: пойдём.

Дед лежит на спине и что-то бормочет. Тихо, потом громче, так что слышно слова: «Васька, вода глубока, телегу утоплю. Ты меня подожди, я щас. Дай только Моряка запрягу».

Я гляжу на бабушку. Она смотрит в угол на икону и беззвучно шевелит губами. Мама толкает к двери — спать. Я молча упрямлюсь. Дед поворачивается на бок и замолкает. Полночь. Арест снят. Бабушка останавливает ходики и закрывает деду глаза.

Но всё это — только воображение. А настоящая Луна выходит и давит что есть силы на мост. Он рушится там, откуда я только что прибежал. Поворачиваюсь и бегу дальше, к тому берегу. Но как же поезд? А поезда уже нет, как нет и луны.

Что-то дёргает и свистит. В голове начинают крутиться какие-то ролики. Сквозь железные ухабы дороги ловко скачет фургон. Я ликую: мы едем в деревню!

Домá на высоком пирожке взгорья. Заросшие муравой улицы. Огород склонился к реке и неспешно пьёт воду. Он — поле чудесных находок: кресты, лошадиные зубы, татарская стрела с дыркой. С ней я удачливо охотился на ворон, цепеневших от её визга. Наконец она воткнулась в верхушку берёзы. Не поднимись буря, я спас бы её. Охотник мотался сверху и орал благим матом, а мама вскидывала руки и о чём-то заклинала низко летящее небо.

Легко и весело бежать по пыльной и тайной, укрытой ботвой тропинке вниз, где за калиткой сразу врежешься в крапивные буйные джунгли. Крапива так толста, что едвахватишь рукой, а иглы проколют ладонь насквозь. Не-

возможно поверить, что весной, сквозь сухой прошлогодний бурьян, робко зеленеет её нежная молодость.

В неимоверной высоте крапива склоняется в строгую арку. Но в пылу июля и тень её небезопасна. В особенно жаркие дни, в надежде на дождь, по старинной примете, меня посылают посесть крапиву. Деревянной сабелькой я с упоением предаюсь этому бессмысленному занятию, избивая мнимых врагов. И вера в чудо иногда подкрепляется и собравшимся дождиком.

Речку легко перепрыгнуть. Но однажды я чуть не утоп в единственной, может, на всей речке яме прямо на глазах у двоюродных братьев, которые издевательски-недоверчиво свистели над моим отчаянием.

Если лечь на другом берегу и подставить глаза к воде, то крапивные заросли кажутся непроходимой еловой чащей. Однажды я схоронился там от стада свиней, которые ходят по деревне совершенно как в раю, и роют кочки на берегу речушки, куда стекаются отличные рыболовные черви.

За спиной, против деревни, увалы — протянутая к реке культяшка огромной лапы со средним уцелевшим пальцем — Татарский елбан. На его плоской вершине ветер косматит ковыль.

Тут же — яростная вечерняя рыбная ловля. Пескари, окуньки, линьки беспрестанно летят в котелки по десятку в минуту.

Наша рыбалка — по маленькой. Не то дядя Серёга — лихой рыболов. Три его удочки вытягивают из глубин целые вёдра великанов-карасей. Он знает, где будет клевать настоящая рыба. Но гений рыбалки — пьяница — младший сын пьяного семейства с рыбной фамилией Китовы.

Деревня — отъезжее поле. Здесь охота не столь изысканна, как в городе, зато совмещает удачу и пользу. Здесь нет уже резных самострелов и проволочных пулек. Здесь царство рогатки и битого чугуна. Полёт его точен и смертелен. Вороны идут на пугала, а голуби в суп и жаркое.

Дом пропитан сизым махорочным дымом — первый запах деревни. Бабушки нет, и дед беспечно смолит в потолок. Над его головой лениво буксуют густые дымные

кольца. Нашему приезду он рад, хотя не подаёт и виду. Нарочно медленно обнимает он мать, степенно здоровается с отцом. Мне внимания больше всего: «Кхм-бормота привезли»... О бабушке — машет в сад: «Вон, нарцисов своих разводит». Она появляется сама с охапкой нарцисов — нас ждут.

В разговоре с бабушкой дед пользуется только одним словом, меняя лишь тон. «Софья!» — и стол уставляется праздничным обедом; «Софья?!» — и из-за образа достаётся праздничный шкалик.

Выпить дед любит не один, но поддержать его некому. Он стар, слаб и держится только до третьей рюмки, и тогда недобрым словом поминает власть, а на пятой начинает говорить «по-немецки», где некоторые слова очень похожи на русские, которые мне запрещают слушать.

Встаём поздно. На столе топлёное масло, сметана, варенье. Бабушка печёт блины. Две сковороды снуют в печь так быстро, что мы втроём не успеваем подьедать — один блин всегда в запасе. Дед поел спозаранку и теперь держит газету. В «Правде» читается только погода, объявляется ложью, и газета идёт в раскурку.

Он почему-то не любит Пушкина, а все разговоры приканчивает одинаково: «Глупые вы ишшо». Своё презрение к разуму он показывает из вредности. На деле он умён и удачлив. Он воевал в пехоте, попал в плен, трижды бежал и остался жив.

О нём рассказывают истории. Будто однажды он поехал в город да забыл бумажку с адресом и спросил у первого прохожего мужика: «Слышь, ты, Федька-т Романов, где живёт?» — «Да вон, в том доме, в тридцать третьей квартире», — отвечал тот...

Сплю я на чердаке, среди сена, газет и старинных сапожных колодок. Под головой мешок с прошлогодним хмелем. Потому, может быть, и сны мои глубоки и прозрачны. Отсюда я наблюдаю звёзды; вижу, как луна заливает холмы.

Здесь я учусь свистеть и тем постигаю тайный смысл заграничного жеста «о'кей». Он — ключ к свисту в виде составленной пальцами буквы О.

Иногда, перед сном, я спускаюсь к деду за сказкой. От него я слышу о Рыбаке и Рыбке. В пику школьной, у него другая история — Старик предприимчив и не разменивается на пустяки. Он устраивает свою жизнь на острове против прежней лачуги, держит Рыбку в пруду и изводит каргу разными сумасбродствами до тех пор, пока та не отдаёт Богу свою сварливую душу. А Рыбка просит у Старика прощенья и признаётся, что она и есть Старуха, но не та — завистливая и злая, а чистой невинной души. Что прежде, когда Старик еще только ходил в женихах, Старухино сердце умыкнул один Моряк и утопил его вместе с собою. Так появилась Рыбка. А у бессердечной Старухи только и осталось радости, что пилить Старика. Теперь Рыбка готова исполнить заветное Стариково желание. Старик думает, медлит и воскрешает Старуху с золотой рыбкой на груди...

Грохот туннеля комкает и срывает картинку. Мир во тьме, но да здравствует электрический свет! Теперь не уснуть. Зато прошлое выходит из засонья. Я всё думаю о деревне, что окончательно умерла вместе с дедом. Кончалась она долго. Церковь переложили в школу, ту снесли, магазин сгорел. Жители растеклись кто куда. Осталось только прозрачное кладбище на высоком бугре, а со смертью ограды оно подобрало к себе и старинных утленников, и недавних самоубийц.

Туннель пролетел и опять почти тишина. Иду за чаем и тихо пью его напротив не по-женски храпящей проводницкой двери.

Хохлы ли, Балетка, домик ли, узость пути навевают сторонние мысли. Я почему-то начинаю думать об оседлости, о том, что оседлость — странное слово, которое значит не столько привязанность к месту, сколько связь с этим местом, так что, по сути, кочевники — самые оседлые люди, которые вместе с собой носят то, что делает их неизменными. Они всегда на коне и всегда дома. Их дом — не место, а чувство. И кто ещё более постоянен — парагвайские немцы или наши цыгане?

Это как-то связывается с поездками туда и обратно. И каждый раз, когда я ехал «туда», вагоны были полны земляков, кто уезжал *навсегда*.

Почему вообще уезжают? Что снимает их, нас с обжитого места и бросает в неизвестные дали? И почему одни уезжают оттуда, а другие так стремятся туда? Вот ведь хохлы ехали к нам, а наши — куда-то на запад, так что земляков можно увидеть почти где угодно — в Вене, Венеции, Венесуэле. Но больше всего их в наших столицах. Москве земляки предпочитают Питер. Что гонит их туда от зелени, солнца и ясного неба? Потом ведь всё становится тем же, что и везде, куда бы они ни попали.

Столица — спесивое место. Она — самый простой способ возвысить себя. Ещё проще это сделать, уехав за границу, чтоб в биографии мелькали столицы мировые. Но здесь есть недостаток. Привлекательно это только тогда, когда по временам можно навещать родину и старых друзей, предстывая перед ними воображаемым великаном. И даже те, кто не может вернуться, стремятся туда — рассказать, показать, вызвать зависть и попутно заразить этим самым стремлением. Но знают они, что никто никуда не поедет. Что большинство слушателей мучает страх бессмысленных перемен. Многие не заразятся. Но, бывает, заблестят глаза нового Адама, и его уже легко совратить.

Он уже рисует себе, думает, что если бы, да кабы не семья, то так же махнул бы, как этот чудесный смельчак. И зараза начинает точить. Она поселяется в голове и первым делом попадает в глаза, делая всё кругом кривым, скудельным, убогим. Ближнее расплывается. Всё знакомое кажется недалёким, и уже потому привлекает даль.

Потом болезнь возвращается в мозг. Настоящее видится исполненным пустых результатов и чрезмерных трудов. Всё здешнее — пыль. Работа — надрыв, а жизнь — испытание. И непритязательность переходит в непритязательность.

И, продолжая верить глазам, он воспринимает уже одну видимость. Разрушить её может только реальность. Неофит готов. Уложив баул, он уже едет, не помня себя. Высокая платформа — этот символ столичной самоуверенности — под самой ногой. Иллюзии на высоте, самодовольство в зените.

Но если соблазнитель — поклонник новизны и красот, то Адам здесь не за тем, чтоб начать жить иначе, а, как

водится в гостях, просто порубать начужбинку. Но зайти не к кому — дверь заперта. И корешок-соблазнитель почему-то не слишком хочет видеть своего малахольного друга, так что несколько дней и ночевать негде. И он, ошеломлённый вероломством «друга», рад получить койку в общаге и нажраться хоть какой-нибудь полуготовой мурцовки, которую можно сварганить себе на скорую руку. Может, здесь и вспомнит он бабкину поговорку, что обочины жизни не шанежками увешаны?! Но если и тогда он не разует глаза, то ещё несколько дней или месяц, на последние деньги будет шарашиться без цели и направления, пока не найдёт себе работёнку и не начнёт мантолить с утра и до вечера каким-нибудь подметалой, льстиво улыбаясь барыгам и разгоняя по служебной обузе бродячих кабыздохов. А барыги будут навещать его сны.

Как обкусанные пальцы в горячей воде, они проявляются вдруг, стоит закрыть глаза. Он будто лишь смотрит, а они хозяйничают в нём. Или он — просто дверь, за которой идёт другая, неподвластная ему жизнь.

Сумрачные, они всегда становятся у него за спиной или прячутся в тень, так что он никак не может увидеть их лиц. А то берут его за руки и ведут по нескончаемым лабиринтам. Потом внезапно сворачивают, так что по временам он может видеть себя в просветах смежных проходов. За его спиной они что-то обсуждают, иногда обращаясь к нему, а он малодушно отвечает и соглашается. Но стоит только проснуться, как всё теряется и меркнет, оставляя в голове только желание вспомнить и воскресить эти ответы, как будто это может уберечь его от них.

В другие ночи он пытается расставить вешки, запомнить очертания, детали, углы. Но что запоминать, если всё вокруг одинаково. Побуждаемый рассветом, он готов уже оторваться и обрести самостоятельность, но всякий раз ему преграждают путь всё той же рукой, оттолкнуть которую ему самому не по силам. И тогда, когда он готов уже сдаться, из темноты, наперерез им, выскакивает бабушка, охватывает его руками и кричит: «Эш, припёрлися сюда, краснорожие черти, жинжеля!» Тогда они отступают и прячутся. Но проходит день, и они снова на месте.

Теперь он смотрит себе под ноги и изредка видит там проблемки, которые в безнадежной темноте уверенно кажутся ему тем, что он так долго искал. Вспомнить, увидеть себя — прямая возможность дать им отпор. Теперь все эти мельчайшие приметы он поднимает и сыпает в карманы, а когда просыпается — опять ничего не помнит.

Каждый раз он старается ухватиться хоть за что-то знакомое, реальное. Вроде оно и похоже на правду, но звучит так же бессмысленно, как без пяти пять. И чем сильнее пытается он представить себе мир земной, тем пронзительнее видит в нём потустороннее.

И вроде бы давно надо понять этому чалдону — пора отчаливать. Но упрямства ему не занимать. И, чтобы разгадать своё смущенье, находит этот герой на рынке какого-нибудь земляка. Но даже если и земля такой же вот простодырый, то всё равно «не тово». Ведь к рынкам у него нелюбовь, прижитая с детства. Каждый раз, проходя сквозь ворота, он вспоминает, как униженно считала мелочь мать, а сверху выжидательно смотрели на неё надменные «сыны пророка». И зал в его глазах автоматически делится на своих и чужих. Чужаки эти сплошь нависают во фруктовых рядах, словно нарочно устроенных так, чтобы покупатель был отделён от продавца массивным прилавком, из-за которого ему выбирают гнилой и лежалый товар. И он понимает со злостью, что если раньше, идя по рынку, он просто чурался этих тёмных, с оскаленным выражением лиц, то теперь пришло нечто новое. Ещё немного, и он купит у тех же барыг позабытую дома фуражку, и всё будет, как в детстве, когда «десантура» и «погранцы» бескорыстно переворачивали прилавки и валяли по полу елдашей, выражая этим энтузиазмом апогей своих праздников. Но это уж слишком...

Возможно другое. Одет он, как все, и на слове его не поймать. И работает не в шарашке, а в офисе. Но как в офисе нет офицеров, так и ему не стать местным, а быть всё той же посельгой, которой помыкают кому не лень. И ждать удачи придётся до морковкина заговенья. Впрочем, он ещё ждёт, хоботырится, но понимает, что оклемаваться можно только вернувшись. И вот, исподволь, ещё только в уме, начинает он подсобирываться.

До конца ещё далеко. Он не уверен — так ли там хорошо. И бывает, он наезжает домой. Но причина тому — не тоска, а всё та же возможность покобениться перед бывшими теперь уже друганами.

И снова назад, к старым снам. Они вползают в него с усилием, так что прокрадывается мысль, что сны эти кто-то заказывает. Порой он чувствует страшную силу где-то в спине. Она поднимает его над кроватью и несёт в крайние закоулки сознания, куда он ни за что не решился бы сунуться днём.

Чтобы не растеряться, он пытается ловить взглядом руку. Но вместо своей видит другую — загорелую, волосатую, с золотой гайкой на пальце.

Долго бродит он по пустынным кривым закоулкам, будто ищет чего-то, пока не заходит в узкий и грязный двор, похожий на щель, где баба с тёмным скуластым лицом плещет ему в ноги ведро помоев. Он выпрастывается из щели, сворачивает и бежит коридорами улиц, покуда не выскочит на залитую солнцем площадь. Жёлтые арки обступают его со всех сторон. Он теряется и робеет — в каждой будто бы он, не похожий на себя самого. Оглянувшись, он втыкает голову в ослепительный нуль солнца. И в этот момент мысли вскипают, пузырятся и хлещут уже через край. Голова ясна и легка.

На работе, где он тот же всё «лейтенант в отставке», заявление начальству, вечером раздаёт по новым друзьям накопленные шелагушки. Спит спокойно, без снов. Утром идёт на вокзал, не желая видеть ни лиц, ни красот, ничего... Москва уже за спиной — и ни шагу назад.

А как соблазнитель, что приехал годом пораньше? Своя рубашка ему ближе и потому он не пускает к себе неотёсанного корешка, хотя исподволь и следит за его «успехами». Впрочем, всё то, что случилось с жертвой его болтовни, волнует не слишком.

Сам он давно уже имеет вид старожилы. Но флёр первого времени, ходьбы, удивлений, хвастливых отписок домой давно и быстро прошёл. В разговорах с приезжими он ещё наливается гордостью за прописку, но всё больше ругает город грязной дырой.

Тоска подступает исподволь, так что не успевает понять, когда за чужим внешним блеском перестал различать себя самого. Но пожалеть его некому, потому что «заслуги» его и «друзья» — это новое и пустое. Общего нет — нет и общения. Сочувствия здесь не дождёшься.

Корни прошлого давно не питают. Они уже не болят, а сохнут. Это и есть — ностальгия. И время, заслуги, красоты уже, кажется, не страшно терять. Их полноводье мелеет, корчится, сохнет и оставляет в нём, как в австралийской пустыне, один только крик. Пожилой этот Евгений думает уже по-другому: всё отдам, лишь бы вернуться. Он ссорится с друзьями, пытаюсь им разъяснить, но сочувствия не находит. Он машет рукой, кончает с делами, идёт на вокзал за билетом и чувствует будто бы страх. Но это лишь жадность и опасение: а ну, если здесь потеряешь, а там — ничего? Всё ведь стало другим. У прежних друзей семьи, дети, старые и новые жёны. И если друзья ещё вспомнят тебя, то жёны тебя даже не знают. И всё будет против. И здешняя фантазия об излечении там обернётся всё тем же. Он возвращается и начинает жить по привычке: перетерплю. Но всё повернулось. То, что казалось вершиной — внизу. Корни эти в здешней каменистой земле коротки. А внутри греет солнце. Набухают почки. Ещё немного, и из сухих будто бы веток уже повылезут листья — эти приметы и знаки весны. Глаза, ноздри, уши ловят всё, что для других недоступно. В бледном «спасибо» на чеке он различает обрывок родины и читает его как псалтирь. Он уже не один. Родина ревнует к чужбине и лечит сравнением. Он сличает всё на пути: лужи, лица, выбоины на асфальте. Ещё самую малость, и чек превратится в билет... Но Евгений крепче своего приземлённого корешка. Он — эстет и считает все эти позывы обманом. Он настороже. И если столичная грязь начинает бросаться в глаза, он ищет другие пути и уже выбирает Европу или что-то подальше. И продолжает свою эйфорию до нового переезда куда-нибудь в Глазго, где поселяется на Богом забытой улице, на уборку которой не хватит ни денег, ни рук. На лестнице то же. Раздражает всё. Два первых года учит язык и с отращиванием уже переводит на новый лад имя такого же, как и он, уезжанца. А тот — просто Валдас Зебестас. Пона-

чалу язык не даётся, потом, вроде бы, начинает сдаваться, когда наш эстет вдруг понимает, что невозможно жить в мире, который называется уродливым словом Уорлд на планете Зи Ётхс. Ему уже безразлично спокойствие, царящее тут, — тот самый «пис», который так не нравился прежним ментам. Не соблазняет и мысль о либерализме, когда облегчить нужду можно без опасений ареста. Здесь не допустят описки и так же, как и везде выпишут штраф, только уже равнодушно, не понимая ни слова, ни жеста. А платить, как венецианцу Антонио, нечем. Ведь иллюзия, превращённая в реальность — полноценной не станет. Она — как бабкина облигация. Обналичить её не удастся, и можно лишь любоваться на красивые завитушки и почтенный венчик, обнявший весь мир. Он всем сердцем уже стремится обратно, туда, где не надо платить по чужим счетам. Но нет дороги назад. Западня обостряет болезнь. И чтобы вернуться хоть в чувствах, идёт он и гадит на их этикет — на упаковку.

Таблетки здесь не помогут и лучшее лечение — Родина. Но что делать, если она в дефиците, да ещё и по собственной воле...

Ностальгия — диагноз. За сто лет после Брокгауза, статья о ней разрослась, как разрослась и болезнь. Быть может, скоро она захватит в себя слишком многих. И тысячи, миллионы людей бросятся поджигать и убивать. Они, кто обезумел, сначала не будут трогать друг друга. И ненависть будет выливаться на местных. Место, которое их приютило, скоро будет пустыней. Но эта война не за место, а значит — не месть. Они стремятся к другому. Но если они вернуться на родину в том своём виде, в болезни, которая не поддаётся лечению, если и родина их не излечит, то они продолжат убийства и там. И в этой пустыне, проснувшись и осознав, они накинут петлю на себя. Ведь те, на кого они подняли руку — их друзья и родные.

Нет доверия к истории братьев. Если уж у кого-то из них и случился припадок, то, конечно, у Авеля. Или он был из тех пастухов, кто не болеет совсем ностальгией? И тогда всё тоже понятно. Он — блудный сын. Он вернулся, но принёс с собой новые нравы. Свинину не есть не для

моды, ведь как же можно есть однокашников? Его принимает отец. И тогда, видя беззаконие, недоумённо смотрит старший сын на отца. Отчего такая несправедливость? Почему брату, а не ему полагается честь? Он говорит с братом, обвиняя его, а тот, не помня себя, берётся за нож. И только потом, какой-то его потомок сказал, де, грешны все мы, те, кто от Авеля. И надо б покаяться. С тех пор и началась свистопляска, но не на день, а на ближайшие две с хвостиком тысячи лет.

Всё к одному. И первым, конечно, потухнет Свет Ночный. Потом уже все остальные. И тишина останется только где-нибудь на островах. Это и будет высшие расправа и суд. Каждому выберут срок. Большинству — вечную казнь, а те, кто получит «условно», начнут новый мир.

Я додумался до того, что дорога — это порок, и она, конечно, ведёт к преступлению. И преступная мысль зарождается сама по себе. Отчего? Может, тайный порок в нас самих? И мы пытаемся быть похожими на иностранцев, а больше всего англичан? Эти всю жизнь могут провести в заморских странах, но всегда знают, что на старости лет вернуться в отчизну. Дело, может быть, в островах? Легко любить то, что видишь до края. Они — как москвичи — эти внутренние наши «британцы». Не желая принять туземства, они всегда стремятся домой. И сколько ни проживи они лет среди нас, их презрение к нам не пройдёт, ведь нам заказана дорога в их рай.

Похожи, похожи они. И говорят они странно: одни катают во рту картошку, а другие тянут кошку за хвост, так что простодушному провинциалу легко принять их за извращенцев. Но никакой коренной не будет тянуть и выделываться. Правда, таких уже совсем почти нет и в мякване этом виден вчерашний Адам. Так что если первые — колонизаторы, то вторые, скорее, канализаторы. Пробковый шлем и монтажная каска — уборы для разных голов.

Позади половина пути. За окном — тьмутаракань. Удары колёс по стыкам бормочут какие-то фразы, а уже те диктуют картины, которые, будто проектором, передаются на белую оконную штору. Но образы эти смутны, и различить ничего невозможно. Пробежав стык, поезд

подскакивает, — отбивает такт. Всё это смыкается с промелькнувшим полустанком и опять налетает полусон. Стук, стук. Видать, мальчишки подкладывают под колёса гвозди... А может, намёк на оседлость? Ещё минута, и, держась за узду, я снова скачу на восток.

*

Утро летит без остановки. В шторке дырка от ночного гвоздя. Сквозь неё сочится утренний свет. Под стук вспоминаются собственные, давно истлевшие гвозди, подложенные под поезд с тайной целью получить настоящий кинжал. Потом эти «кинжалы» десятками валялись где-нибудь в укромном углу, безнадежно ожидая своей очереди на конечную обработку. Самым ценным здесь был тот миг, когда поезд, медленно погромыхая последним вагоном, проезжал, и мы бросались к рельсам, отыскивать эти раскалённые тяжким движением полоски. А они медленно отпускали нам в руку тепло, которое чудесным образом выходило из них, ещё недавно таких круглых и холодных. И это тепло нам было понятно из множества других похожих вещей. Тогда всё можно было объяснить. И странное это тепло с одной стороны соединялось со штурмами сугробов, где мы возились до остекления штанов, но тело было горячим, а с другой, из более позднего времени, с таинственной ядерной силой, о которой слышали в школе. Всё это приводило к «опасным» опытам по добыванию энергии из ранеток. Под ударами молотка они разлетались вдребезги, а мы сидели в ожидании священной искры — того чуда, которое должно было произойти из яблочного атома, который нужно было делить. Но то ли ранетки были слишком малы, то ли атомов там вовсе и не было, на общее счастье взрывов не происходило и можно было, забыв об опытах и науках, обкидываться и объедаться ими до отвала.

Вагон стучит всё чаще, будто торопится сам. От этого кажется, что приеду уже сегодня к обеду. И как поезд не может свернуть, так и я не могу пресечь этот поток воспоминаний, которые всё дальше уведат меня к началу.

ГОРОДОК

Тот, который знает нас,
не похож на того,
которого знаем мы.

Африканская пословица

Слово Городок похоже на завиток, на улитку, на подпёршую голову руку. От реки Кошь, оставшейся в наследство от обитавшего на её берегах племени, некогда он прозывался Кошачьим. Но, может статься, имя он получил и от острова Кошка, куда пристала, говорят, первая лодка с поселенцами. Впрочем, кошек на острове никогда не водилось, да и относились к ним в Городке не слишком благосклонно и, хоть и держали их изредка, но как-то они не велись, так что можно подумать, будто неприязнь эта была взаимной. Почти египетское обожание животных, отлитое в многочисленных истуканах, этой породы не коснулось. Словом, кошка в Городке была совершенно бесполезным, а посему несуществующим зверем.

Эволюция имени такова: вначале, когда русские только поселились на этом месте, деревенька называлась Кошачий. Разработка казённых приисков утвердила в столице мнение о подыскании названия попрестижнее. Там и сельцо разрослось и обзавелось уже разными мануфактурами для своих и государевых надобностей. Тогда, во времена приснопамятной Екатерины, и прибавили «Городок». По приезде нового вождя, усмотрели в этом непорядок и дерзкие вольности и сократили до Городка. А поскольку местность наша отдалённая и никто значительный здесь не родился, а все были только проездом, то человеческого имени Городок не приобрёл и остался городком, каких много.

Кроме медведей, оленей, собак, змей, свиней, павлинов и коз, изваянных из всевозможных веществ, несколько и вполне человеческих: три Ленина в разных одеждах, указу-

ющих во все стороны света — последний разводит руками, памятник Пушкину и фигурка умершего в Городке изобретателя Червякова — перед старейшим в округе музеем.

Басурманка — мой природный район, прежде крепко вплетённый молекулами деревянных домов в каменную застройку, сжался и отодвинулся к реке. Правая, деревянная сторона Народного проспекта, будто живое ополчение, отражает другую — каменную и регулярную. Перейти отважились пока ещё немногие кирпичные смельчаки. Красно-белый «Бербанк» с медведем на крыше — их основатель и полководец — знает, что только сначала этот каменный подвиг будет непонятен, а дальше их ждут награды, богатство и слава. Вблизи они видят, что резной деревянный фасад их соседей — показуха. А дальше — нахаловка и руины. Здесь, на сплошь уже каменном «берегу», ещё заметны деревянные «повстанцы». Кое-кто из них даже молод. Но все они здесь только затем, чтобы подороже продать свою жизнь.

Там, в глубине Басурманки, дома, некогда построенные по прихотливой гордыне владельцев — кто во что горазд — падают или вырастают. Гниют брёвна, и текут крыши. А высокий кошский обрыв каждый год отъедает квартал басурманских владений. Уже давно заготовлены сваи и плиты. Уже лежат на архитектурских столах планы спасения и проложена в спасательском воображении Кошская набережная, не уступающая Английской...

Я с трудом перешёл наводнённый машинами Народный, здесь оснащённый нечастыми ещё светофорами. Но с каждым шагом вглубь Басурманки прошлое, казалось, всё сильнее отодвигалось. Оно будто осталось в той первоначальной памяти, которая вдруг разверзлась передо мной во сне и на дороге из Норова. И чем ближе я приближался к вещественным доказательствам, тем память становилась ленивее и пустее, но тем пуще разжигалась фантазия, в которую охотно окунались все окружающие предметы. Вот и лица людей казались всё теми же. Даже собаки будто оттуда. Но этого, конечно, быть не могло. Теперь моя жизнь, если измерить её собачьими, протянулась бы на трёх кабыздохов. Она казалась мне вместе короткой, так что

эти воображаемые дворняжки не успели бы твякнуть, и широкой, потому что в неё вместилось всё невероятное количество моих и чужих чувств, расстояний, предметов, домов. И внутренний этот рост теперь легко объяснял, почему серая глыба мельницы уже не казалась такой громадной. Прошлое было теперь столь велико, что в нём помещались все времена, события, люди — от невинных детей до страшных согбенных старух — ходячих горбов, которые, будто медиумы времён, носили неизменные старинные, вытертые до кожи цигейковые шубы. Как и прежде, они держали одну руку за поясом и никогда не опирались на палку.

Улица моего детства когда-то называлась Непроежим переулком, потом Доброхотской улицей. А позже первое пересилило второе, и жил я уже в Кустарном тупике. Теперь здесь нет и кустов, но, видно, из земли ещё не выветрился тот смачный пьянящий дух, от которого росла всякая палка. Так что я и сам не заметил, как вдруг очутился в том незапамятном возрасте, когда забытый быт взрослой родительской жизни никак не мешал отыскивать важное, а детская вера упрямо спорила со взрослыми суевериями. Здесь бродили вдоль весенних ручьёв, подгоняя кораблик, здесь тонул с кораблём «капитан», а после обсыхал возле печки, заклиная родителей задержаться подольше, здесь тёрли до блеска о рукава и давились кислыми ранетками, не в силах дожидаться, пока их прибьет морозом, здесь клятвенно жевали землю, невзирая на место...

Широкий переулок проложен так, как это делают за городом, когда дорожная насыпь возвышается над окрестными низинами. Дома стоят в ямах и во дворы нужно спускаться. Песчаная подушка, вздувавшаяся пыльными облаками от проходящих машин, лежала долго, пока по всей длине не были сгружены, да так и оставлены кучи крупного щебня. От этого со временем образовалась удивительно холмистая, приглаженная колёсами и ногами улица, по которой по ночам взрыкивали машины, а свет фар метался вверх и вниз, как и положено в бурном море, так что в нашем сухопутном месте стали являться морские истории.

Радужные от бензина лужи между взгорков переполнялись дождями и текли во дворы. А мы, сперва вволю натешившись путешествием спичек по изгибистым многоцветным потокам, будто новые голландцы, упрямо воздвигали плотины. Труды всегда были тщетны: новые игры меняли наши профессии, и к дворовому ландшафту добавлялась безмерная лужа. Она простиралась от крыльца до дальних сараев. По краям этого Черноземного моря крыльцо становилось Римом, единственный балкон — Балканами, тополь — Крымом, а дальние сараи — Африкой и Палестиной, так что пройти от Рима до Крыма и дальше можно было лишь в сапогах.

И если в Эпоху Разлива Больших Рек я летал над лужей на отцовских руках, то позже — на аэропланах, которые клеили из реек, шпона и папиросной бумаги, оставшихся от чьих-то неведомых запасов.

Впрочем, до неба в Городке можно дойти. По четвергам, после школьных уроков, нас напрямик отправляли наверх — прочь от реки, где в конце улицы, на краю широкого парка стоял планетарий — бывшая церковь. Над входом — квадрат всегда свежей извёстки. Позже рассказывали, что там стала проявляться какая-то фреска. Замазать её не удавалось, и спустя несколько лет квадрату решили придать респектабельный вид: смыли известь, подтёрли нимб, положили тени и дорисовали до Ленина.

Часовня окружена «планетами» — десятком громадных шаров на массивных чугунных подставках. На первой экскурсии я влез на один и возвышался над всеми, пока площадь внизу не опустела, так что учительнице пришлось подставлять свою шею.

Парк культуры и отдыха, по странному обыкновению эпохи, переиначен из кладбища. Эта культура и отдых уже тогда звучали насмешкой над культом и смертью — отдыхом вечным. Теперь шары стали проваливаться в могилы. Предвестие конца света или просто чугунная природа не терпит под собой пустоты?

Купол служил на совесть только глазам. Старинный цейс по-прежнему чётко рисовал на нём фигуры созвездий. Но построенный для голоса, купол будто издевал-

ся над слухом. Лектор, пока стоял перед нами, говорил чистым и воспитанным голосом, но стоило ему погасить свет и взять микрофон, как тот начинал кашлять, трещать и булькать, а купол — аукать и завывать. Как видно, это и дало нашему звездочёту прозвище — Говорящая Задница. Иногда он пускал по рядам тяжёлый, чёрный метеорит, похожий на оплавленную автогеном болванку. Окончательно же прозвище оправдали уроки анатомии: как видно, от частого общения с небом лектор подхватил звёздную болезнь — метеоризм.

Посреди улицы — дороги к планетарию — стояли столбы ЛЭП. У самого здания нитки линий сводились в узел, к вершине раскоряченной посреди зелёной лужайки опоры. Эта опора потом меня почему-то сильно волновала. На неё хотелось залезть и в высоту, над смешными шарами, почувствовать себя космонавтом.

Позже в планетарии недолго работал отец. Я приходил к нему и обходил пустые залы этого храма то ли знания, то ли веры.

Тихой ночью, с устрашающей мыслью о кладбище, я выходил из дверей, глядел в чистое, незамутнённое городскими огнями небо и, не решаясь двинуться дальше, представлял себя открывателем далёкой покинутой планеты, обитатели которой жили теперь где-то в другом, неведомом месте.

В космос хотелось и со страхом внутри. Попасть туда можно было ночью при чистом небе, когда расступались облака, кочующие на синих безмолвных границах.

Целое лето мы по кускам собирали ракету. Всё было готово. Не было лишь одного — самой ракеты — какой-нибудь, заострённой, похожей на карандаш конструкции с круглым окошком и входом. Мы искали её до тех пор, пока нас не осенило, что ракету нужно делать, конечно, из ракиты. Тем более, что у реки нашлось и подходящее дерево с напрочь гнилой сердцевинной, дуплом посреди не ствола и целым входом внизу, так что внутри мы прибили лесенку и устроили все накопленные материалы. Там и «курили» втихушку, воображая в этом дыме и свою взрослость, и ракетный огонь, и головокружение от полёта.

Наверное, желание быть поближе к небу и есть стремление к взрослости. Вот только тогда, раньше, я не знал, что на «обрыве» совершеннолетия «полёт» неизбежен. И неизвестно только одно — полетишь вверх или вниз?

*

Я заглянул в свой двор, теперь объединённый с соседним. Дворы подсыпали и сровняли с дорогой. Насквозь прогнившего дома давно уже нет. Да и не должны такие дома существовать в действительности, а только в воображении и мечтах о прошлом. Нет сараев, дровяников, угларок — «каменноугольный период», как и положено, властвует под метровым слоем асфальта, гравия и песка. Там же и яблоня с червивыми яблоками; зарытые, а теперь навсегда погребённые, «клады». В соседстве с бензоколонкой думаешь, что всё это давно превратилось в уголь и нефть.

Двор был пуст. И если бы не суббота, весь был бы заставлен машинами.

Я шёл дальше, туда, откуда несло банным дымом. Он насквозь пропитал всё вокруг и смешался с запахом брёвен, пакли, старых заборов и палой листвы.

Вот улица с железной дорогой, по которой мы ходили смотреть на играющую в половодье реку и кататься на тощих задиристых льдинах. С берега вдалеке, на горе слева, будет видна телебашня, похожая на оципанную после Нового года ёлку.

Зелёный даже зимой замшелый участок земли — «месторождение» дрови. Сюда ходили добывать прораставшую среди мха свинцовую «клюкву». В детстве все мальчишки — сугубо военные люди. Это потом мы косили от армии, а за десять лет до этого неумоимо лепили из пластилина солдатиков и, выставляя целые когорты, нещадно палили по ним из пушек — гильз от мелкашки, куда вставляли крупные, эти особенно ценные, дробинки.

Тополя, которыми засажены центральные улицы, в деревянном содоме — опасные чужаки. Потому-то здесь преобладают клёны. Они — почти привилегия Басурманки. Местная их порода, вопреки земной тяге, растёт

вкривь и вкось. Будто бородавками, они сплошь усеяны шишковатыми наростами. Весной на них слетаются галки и зримо отмечают собою будто главные достоинства бренда: с тоненьких, ещё хрупких от последних морозов веток стекает сладкий сироп, который теперь вдруг оказался дорогим заграничным продуктом*. Летом, как только клёны выпускали тонкие свежие прутья, можно было, очистив веточку от нежной зелёной коры, пускать «зайчиков». Скользко-упругая сердцевина пулей выскакивала из пальцев в чей-нибудь лоб. Осень — пора «вертолётиков». Их упругие сдвоенные тела похожи на теннисные ракетки или ступни на зарядке.

Двор, теперь совмещённый с нашим, — великая тайна. Хозяина звали Бакоткин. В имени будто сошлись авторитеты безвластья. С ним не здоровались, и к нему не ходил почтальон. Пенсию ему не платили, и до сих пор загадка, на что жил этот человек. Подобно взрослым, мы обегали его стороной, но иногда, отодвинув доску забора, заглядывали внутрь. Старик сидел за треногим столом и сам с собой играл в шахматы, переходя с одной стороны на другую. Он упрямо пытался приручить нас конфетами. Но взрослые пугали отравой, и конфеты летели в помойку в надежде на крысиную смерть.

Он жил один, отсидев много лет за то, что служил полицаем. Ненавидел он не советскую власть, а власть вообще — за соблазн: не будь кесаря, Христа, иудеев, не было б и Иуды. До вождя безвластья он дожил:

* Выражение «за всё нужно платить» словно вычёркивает детство из следующей жизни. Быть может, оно и есть Бытие, осенённое неведомой силой, где нет ни денег, ни роскоши, ни трудов, ничего из того, чего требует «настоящая» жизнь? Оно удивительно незатратно и невероятно расточительно — на движения и плоды. Нужно лишь дотянуться, и всё, за что потом приходится платить, идёт в руки само. И пусть оно не так обильно, зато неподдельно. Ведь и за полноценные деньги часто покупаешь фальшивку. Канадский кленовый сироп в красных банках, что позднее стоял в магазинах, — скорее всего натуральный. Его можно было б купить, если бы к нему прилагались лёгкий весенний ветерок, веточка и закатное солнце в спелой сахарной капле. Но и канадцы, даже если б смогли, не предложили бы этот «полный комплект». Тем более что и семечки у них не щёлкают, а едят.

«предательский» дом ради автозаправки сожгли вместе с ним и собакой.

Как попал сюда, где не было ни войны, ни фашистов, этот человек, было такой же тайной, как местные немцы. Большинство уехало, а те, что остались, немцами были лишь по названию. Их считали чем-то вроде аборигенов и почти дикарей, сохранившихся с незапамятных времён. Говорили, когда до Городка добрался сам Ермолай Тимофеев, уже обжившие эти места котофобы, не желая делиться ничем, на все вопросы его отвечали, дескать, не местные мы. Дело, сказывают, было в мороз, и губы слипались. Тем, кто пришёл, слышалось: «немецкие мы». Тогда пришлые только махнули рукой, дескать, и спрашивать не о чем, всё равно не понять, и пошли себе дальше, разнося легенду о безмерном немецком проворстве. Под спудом слов за столетия они стали и вправду, как немцы. Впрочем, те и другие говорили только по-русски, и отличить подлинных немцев от наших можно было лишь по фамилиям, да и то не всегда. Когда-то жили они на Отшибе, но уступили его новосёлам. А уж Отшиб прирос Басурманкой. Это у них, этих выдуманных немцев, были чистота и порядок. А у тех, настоящих, кто теперь уезжал — разброд и шатанье. Да и откуда бы взяться порядку у беспокойных и подвижных людей? Могут ли сделать они хорошо, если всё время ищут, где лучше?

Подобно нулю, Городок не раз сводил противоположности вместе. В эвакуации здесь умер поэт Шершнеф и мавсон-эмигрант Кончаков.

Теперь здесь, на Старом Отшибе, автостоянка. За нею не видно реки. Некогда сюда приходили резать пращи. Оружие это, как и приклады взрослых ружей, росло в прибрежных кустах. Они сплошь обрезались летом, а потом вновь отрастали ещё гуще.

Весь городок тогда поделился на уделы, и «оружие» брали с боем — кусты оберегались речными. И чтобы срезать новую, в карман клали старую — не для защиты, но для бесстрашия. Здесь — поле последней битвы. Тогда речные вдруг окружили нас. В яростной схватке мы сбросили их под обрыв, но в конце потеряли и берег, и кусты. Отрадно лишь, что поражение заставляет думать лучше

победы. Нашим ответом против детских «речновских» пращей стали настоящие пращи из отцовских, страшно памятных многим армейских ремней, последним «камнем» которых была звездистая пряжка, которую для тяжести заливали свинцом.

Районы были поделены по школам. И, подобно учёным, что тоже бьются за свою пустяковую правду, мы дрались не за истину, а за принцип.

Зато для суровой Заречни все мы были «городскими», и теплоходная прогулка на дальний берег заставляла объединяться перед общей угрозой. Но стоило вернуться, как свары начинались вновь...

Теперь все ссоры оставлены здесь. Словно навсегда перейдя на «тот берег», мы не вместе, но и вражды уже нет. Нет и тех, кто по-настоящему пал в отчаянных жизненных драках. Может быть, они и примиряют нас — тех, кто остались?

*

Отшиб валится вниз. Там, под обрывом, где вода обмывает песок и старые корни, можно было почувствовать себя всемогущим. Для этого стоило лишь походить по берегу или закинуть верёвку с крючком — басурманской трёхножкой кошкой с зацепом. Она, вместе с мятым ведром или старой кирзой, вытягивала порой из глубин неожиданные и очень нужные вещи: осколок швейной машинки, тележное колесо, трансформатор, пластину свинца. Это случалось подобно тому, когда в горсти мелочи, полученной в магазине за рублёвую бумажку, обнаруживались то пфеннинги, вместо копеек, а то и серебряный пятиалтынный какого-нибудь тысяча восемьсот тридцать затёртого года.

В закиданном некогда ржавым железом проливе найти деньги ещё недавно было проще всего. Но теперь весь металл вынут и сдан. Странно, что прежде его собирали пионеры. Лучше всего это сделали те, кого исключили.

Тогда же деньги, которые взрослые так щепетильно ценили, валялись везде. Старый город понемногу ломали, и то там, то здесь находили клады.

Бывало и мы брались за лопату.

Уроки заканчивались. Мы отслушали последний звонок, едва сдержались, чтобы не вылететь из-за парт без разрешения. На улице гудела орава: малолетки шумно играли в пробки, длинный Пашка уже выяснял отношения, девчонки затеяли «резиночку». Я закинул на плечо сумку и пошёл домой. Но не успел дойти до проспекта, как меня тронула чья-то рука. Обернулся — Генка. Он стоял и пыхтел, совершенно запыхавшись: м-ужики клад нашли, — наконец пробормотал он, — деньги старинные. Только копать надо. Дай сапёрку, вместе пойдём.

— Как же я туда пойду? — возразил я. Там ведь ваши. Надают по башке. И деньги заберут, и лопатку.

— Не заберут, — храбрил меня Генка. — Я — свой человек. Не бойсь. Если что, брата позовём. Побежали, — прибавил он шагу.

Мы рванули что есть сил, швырнули портфель в сарай, схватили лопатку и кинулись обратно.

На углу, рядом с вражеской школой, происходило, наверное, то, что за сто лет до нас на Клондайке. Пацаны, парни и мужики разделили всё пространство на участки и рыли всеми подручными средствами.

— Куда же мы приткнёмся?

— Найдём, — заверил Генка. Они не там роют. Не знают. Я-то знаю, где ящик разбился. Он рассказал, как зацепили экскаватором ящик, как посыпались сквозь песок монеты, где и как пронеслась над песком железная лапа. Туда мы и двинули. Все остальные, за исключением немногих свидетелей, рыли в отдалении. И странно, именно оттуда время от времени раздавались крики: «нашёл! нашёл!», после чего эти находчивые, а пуще их все остальные бросались на колени и начинали рыть с сугубым упорством, по-собачьи перебирая руками. Из нашей делянки не раздавалось ни звука. Это и было понятно. И хотя первый рубль с царским профилем чуть не заставил меня заорать, но опомнился и сам я, и дополнительно зашипел Генка.

Мы рыли «по науке» — копали на штык «по чуть-чуть», срезали слоями, так, что всё, что ни попадалось, брякало о лопату.

В сопящей рабочей тишине мы складывали богатство в карманы, когда услышали гугнявое: «Эй, пацаны, меняю золотой на серебряный рубль, деду нужно на печатку». Эх, как быстро нашёлся целковый! И нашли его, конечно, не мы, что шмыгали себе на коленках, а ребята постарше. Да и не было нам дела до червонца. Вспомнился он уже потом. И долго думалось с презрительной улыбкой: «идиот», пока не пришло понимание, нет, не того пацана с глупым дедом, а самих себя, для которых червонец стал бы тогда всего лишь одной монетой из других. А «ржавый» цвет и ничтожный размер, может быть, отнесли бы его к мелочи, как позже полновесный белый полтинник покрылся этим жёлтым дешёвым налётом, да и сам рубль сократился до прежнего гривенника.

В карманах у нас было по пригоршне серебра, когда показалась милиция. Лопатку пришлось зарыть, чтобы вернуться потом и сделать вид, что мы тут просто играем.

Не приставали к нам вовсе не потому, что кто-то там знал Генку. Просто каждый был занят своим. Что может быть азартнее инстинкта фантазии? Это была не та пустая, бесплодная нажива, которой все увлеклись позже. Это было копилкой, в которой любая брошенная монетка немедленно превращалась в сказочные удовольствия, нематериальное вдохновение, чем жива бóльшая часть всякого детства.

Клад — не богатство. Сколько их потом закопали сами, чтобы найти через год. И прятали каждый раз всё глубже и глубже, то ли пытаюсь пробить дырку сквозь землю, то ли втайне надеясь на безвременную и безымянную славу тех, кто зарывал прежние клады. Кто они были, те странные люди, которые оставляли в земле такие богатства? И то, что клали мы в коробочки и кофейные банки, казалось нам не меньшим сокровищем, чем то, что нашли мы тогда на пустыре.

Всё это было не только фантазией. Для достоверности, кроме дешёвой галантереи, мы клали и медные старинные монеты, жертвуя их богу воображения. Мы были основательны и щедры настолько, насколько глубока была яма. Мы были создателями чудес. Горсть медных

орлов в конце ушла в такой ящичек, чтобы потом потяться. То ли кто подсмотрел? А вернее — забыли место...

Не то — поверхностные девчоночки «секретики». Те прятали «сокровища» в ямку, закрывали стекляшкой и засыпали песком. Потом было интересно разгрести песок и находить помаленьку.

Да что говорить, девчонки вообще были существами совершенно другого рода. Их игры казались ненастоящими и больше касались не труда и заслуг, а только фантазий. Они и сейчас готовы воображать, верить в чудо и это даёт им силы. А мы, обжегшись, потеряв многие клады, хотим только, чтобы исходное не превратилось в безысходное.

*

Я сел на скамейку и оглянулся по сторонам. Всё так и не так. Полрайона теперь было перестроено, и я никак не мог вспомнить, как было тогда, когда не было здесь ни асфальта, ни стеклянно-квадратной коробки, ни парковки с администраторской будкой.

Старый тополь почему-то пощадили, но укоротили до половины, огородив кладкой новенькой мостовой. Из плоской вершины на месте прежней развилки теперь торчал ёжик молодых побегов.

До сих пор кажется, что залезть на него хотел весь наш маленький двор. Может быть потому, что в детстве привлекает всё то, что повыше, хотя сейчас думаю, что, скорее, возвышает то, что привлекает внимание. Я выбрал вечер, когда во дворе было много народа. Женщины стирали и сушили перины, Шлёп-нога на старой фуфайке лежал под машиной, мужики играли в домино.

На тополе только что обрубали нижние ветки, так что теперь было легко цепляться и ставить ноги. Я шустро вскарабкался и уселся верхом на развилку. Сверху можно было увидеть почти всё вокруг — заглянуть за заборы, помахать рукой соседям внизу и туда же послать привет млеющим от восторга подружкам. Теперь это превосходство кажется ложным, ведь огромным было дерево, а я лишь осмелился влезть на него. Залезть — не штука, куда

труднее спускаться. Может быть, потому и не пытаются многие достичь высоты. Но и не могут перебороть в себе интереса, пусть даже к чужому успеху. И смотрят всегда снизу вверх, подрастая лишь до той степени, когда громадное становится просто большим.

Я сидел наверху до самых потёмков, пока меня не снял брат. Отчаянно ругаясь, он долез до меня, а потом, под наблюдением мамы, переставлял мои ноги с ветки на ветку. И хотя внизу, а после и дома, мне задали трёпку, но слава покорителя тополей за мной сохранилась надолго и даже запечатлелась в имени: иногда, чтобы отличить от тёзок, меня звали Сева с тополя, склоняя на все лады: Севестополя, Севустополя, Севойстополя, Севыстополя. Может быть, вместо Питера я бы попал в Севастополь. Но мы переехали, имя забылось, да и флотская слава ушла в другую страну.

Я тщетно пытался представить себе дом, которого нет. И вновь, как и давным-давно, выручил тополь. Я мысленно влез на него и «заглянул» в своё окно. Всё так же, как прежде: скособоченный пол, где удобно катать машинки и кучей вылавливать их шваброй из-под дивана. Комнаты жмутся к печке. Лежу и досматриваю сны. Под кроватью горшок — тот самый золотник, который дорог. Он — единственное ценное, что меньше меня, потому что щуплое моё детство окружено исполнинскими вещами. Я открываю глаза, и взгляд мой уходит в двухсаженную глубину потолка, в которой комната кажется поставленной набок. Выхожу во двор, до краёв налитый водой, куда смотрят высокие чёрные сараи. За ними — опасные соседи — долговязые тополя, заносящие город несметными тучами пуха. Весной хрустят они почками и липко пахнут смолой; осенью — рушат на город водопады гигантской листвы. Всё это я вижу под ногами — в тёмном зеркале лужи. В высоте — циклопическая башня мельницы. Её одинокий фонарь рассеянно смотрит во двор. Округа полна унылым гулом ночных работ.

Воскресенье. Облитое морозной глазурью окно утренней кухни. Трещит печь. Стучит нож, и сухо скрипит скалка. Всё мало-мальски похожее путается и рондится. Отец

похож на пельмень. Мать похожа на скалку. Все чувства ещё неразрывны и для меня пока ещё неделимы: котлета и неделя, ковёр и король. Ворон — муж вороны, а кошачик — это кошка и собачик. Вот я, смотрю на еду и хочу есть. Это понятно. Удивляет лишь, что вареники бывают с картошкой, хотя, очевидно, должны быть с вареньем. Но пельмени я жду. Ведь, если не они, то взрослое есть невозможно.

Пельмени готовы. Отец торжественно накладывает с горкой. Я думаю о Лёхе — силаче и задире с первого этажа и ем много — для мести.

*

Улица манит, и холод не страшен. Собраться — минута.

Зимний двор — белый, блестящий, со снегом на крышах, белокудрой изморозью на яблоне, с угольным дымом столбами. Его не сыскать в обеспеченных новых районах.

Во дворе кипит бой. Мальчишки штурмуют сопку — упрощённую версию «снежного городка». Наверху Лёха. Он — царь горы. Могучей второклассницкой рукой он стряхивает в мягкую снежную кашу соседских. Кидаюсь на приступ. Серёжка почти роняет «царя». Победа близка, но вот ловкий удар и разбитый нос красит каплями снежные склоны. Вверх летит жалобный вой. Лёха боится возмездия и удирает. Война прервана, но не закончена. Мы клянёмся свергнуть Лёху и отомстить. Ведь, будь бой воздушным, лёхин самолёт был бы весь разрисован носами.

С Лёхой мы соседи. Я — единственный, кто страдает от него только словесно. Провокатор, прошлым летом он подстрекал меня сматериться. Как видно, я в точности понял значение слова, потому и ответил легкомысленной «матрёшкой».

За бесчисленные подвохи старшие называли Лёху ушлой мордвой, и мы напрямую связывали это с его оттопыренными ушами и подозрительно вглядывались в лицо.

Из опасений обмана слова́ нужно было истолковывать. Наука эта имела свой алфавит, начало и конец которого сошлись в букве «М» — от молодца до магния. На нечастое взрослое «молодец» недоумённо возражалось: почему «мало»? Много..., многодец! Магний же, вопреки названию, не магнитился и потому со временем связывался с магическим и опасным — бомбочками, ракетами — Новым годом. Он был дóрог и достать его было крайней удачей.

Это Лёха разбогател всего за ночь, открутив со своим дружкой деталь от старого самолёта. Несколько дней они пилили её пополам, десятками ломая драгоценные отцовские пилки, а потом пожинали: точили напильником и продавали щепотки магической пыли.

С его же подачи я проглотил жука — рыбью приманку. Меня прослушивали холодным липким стетоскопом, но так ничего не нашли. «Не бойтесь, жить будет», — сказали маме. В своём бессмертии я ещё не сомневался, и это последнее принял насчёт жука. И долго вслушивался в себя, стараясь обнаружить внутри признаки жизни.

История эта как-то переселилась на улицу, и меня изводили дурацким стишком. На улицу не хотелось, да и внутри было беспокойно. Так я и жил в атмосфере травли на улице и тайной жизни внутри. Недаром, спустя десять лет, казалось, что меня подслушивают, будто маленькая козявка со временем развилась внутри меня в прибор тайной слежки...

Ребята расходятся. Иду домой, скусывая с варежек льдинки. Хочется пить. Пытаюсь лизнуть разгорячённым языком дверную заиндевелую ручку. Отдираю с кровью. Рыдать стыдно. А может, Лёха виноват? — и там кровь, и здесь...

Дома скучно. Сажу у окна, гляжу на узоры и прикладываю палец к стеклу. Он стынет. Целюсь языком, но намеренные тает — память о «сахарной» ручке. Смекаю подуть, и окошко готово. Сквозь него яростно пробивается ослепительный уличный свет.

*

Каждой осенью жизнь отступает, и только редкие, но густые лучи каникул возрождают её, наполняя неподдельной и бессмысленной, а поэтому особенно восхитительной свободой. Школа помнится к случаю — украдкой отдельных кадров. И никогда целно.

Первое сентября. Вижу, как моей маленькой подруге-соседке подарили краски, как она раскрывает коробочку, набирает воды и рисует загадочных змей — красные кривые полосы, попёрдывая от восторга. Я стою рядом и завистливо наблюдаю, как сверхъестественно она выражает переполняющие её чувства... Этому я уже разучился. Зато научился другому. В кармане мешок пробок: «офицерики» от зубной пасты, «принцы» и «короли» с маминых духов и лучшая — «светофорик» — маленькая нажималка от дихлофоса с тоненькой ножкой, сила которой определялась одной только ловкостью рук. Её следовало закрутить двумя пальцами так, чтобы она вращалась на бугристом асфальте, а игроки заморожено считали количество «жизней». Да и попасть ей в соперницу было не просто. Но уж кто умел...

*

В третьем классе я разучился ходить. В спортзале мы отрабатывали строевые приёмы к «конкурсу песни и строя». Пел я громко, а ходил вразвалку. Отставать не хотелось, и мысленно я разделил показательный шаг на четыре движения: я сгибал ногу в колене, поднимал, распрямлял и опускал. К моменту полного прозрения урок закончился и я пошёл домой, с презрением поглядывая на приятелей, сопровождавших каждый мой шаг надрывным неистовым хохотом. Сложно смириться с ошибками собственных истин. Нормально ходить я учился до вечера.

*

Иногда среди привычной, размеренной жизни случаются сгустки. События словно делают намёки и подкрадываются к большему. Старательность младших классов

уступила разгильдяйству средних. Пятый исполнен потерь: умер дед; друг уехал в какой-то Тамбов, вероятно, по моим тогдашним понятиям, совершенно потустороннее место, так что потом я всегда считал его умершим; брата забрали в армию. Прежде голый и сырый младший, я вдруг стал единоличным владельцем множества необходимых мелочей. За этим и не заметил, как закончилось детство.

*

Унылые школьные коридоры были той гребёнкой, которая причёсывала светлую шевелюру моего детства. Она путалась в вихрах, и выдёргивала целые пряди, так что юность осталась бы пустошью, если б, как водится, не приключилась любовь. Разгонялась она долго и началась за несколько лет до того с пустяковой зимней отрады — скользнуть валенками вдоль половиц и щёлкнуть этим электрическим чувством мимолётную девчонку. Впрочем, и потом я был не из тех, кто кружился вокруг и облизывался в предчувствии первой близости. Напротив. В нашем классе издавна бытовали воспитательные подсаживания мальчиков к девочкам. Тех, в ком уже поигрывали гормоны, ссылали на «камчатку», а нас, чьё непополовозрелое веселье выливалось в потасовки с «однопартийцами», переселяли в пару к девчонке, где мы сидели с ней, один несчастнее другого, не зная, куда смотреть и чем заняться. Так что повзрослел я медленно и только к десятому классу дорос до серьёзных чувств, первым из которых стала именно она.

Есть имена, унылая фальшь которых пронизывает произносящего томительной неловкостью и тоской. Их жеманная прелесть не выказывает таланта родителей и не составляет счастья владельцам. Но даже и здесь встречаются исключения, где благозвучие переходит известную меру. Эти сиротские клички навязывают свою волю хозяевам, и те, не в силах разойтись с самим собой, живут под опекой своего именного одиночества. Звали её Нелли.

Более всего меня донимала её мнимая недоступность. Она сбивала меня с толку, окружая себя стаями обожате-

лей, что обычно вьются вокруг школьных красавиц. А уж когда появлялась её подружка Леночка — пухлая девица с заплетающимися зубами, что играла при ней роль уродливого мопса, и так же презрительно фыркала микроскопическим носом, я совсем раскисал. Но всем красавицам вольно давать авансы...

Несчастливые часы ожиданий. Ей было свойственно разыгрывать с людьми такого рода пасьянсы. Прежде я и понятия не имел, что это был её излюбленный враг в отношениях. И не только с мужчинами, а с людьми вообще. И даже с животными. По полдня она могла забавляться с котом и бантом, к которому была привязана мясная приманка. Но я был терпеливым пациентом.

Всему началом была её внешность. Она была влюблена в себя почище антикварного Нарцисса. И поэтому всё, что можно было бы посчитать обрамлением этого внешнего блеска, должно было подчиниться определённому порядку. Все её фантазии были направлены на то, чтобы подчеркнуть и усилить свою красоту. А самолюбование и всё вокруг преобразовало в фантазию, которая становилась реальностью. И если второе не совпадало с первым, начинало сдавать второе.

Тогда у меня было три «отрицательных» свойства, которые не зависели от меня, но от которых зависело моё тогдашнее счастье: я плохо учился, был мал ростом и неуверен в себе. Первое было пустяк, на второе хватало надежды, но третье было непоправимо — мне не хватало истории.

Способов соблазнения существует великое множество. Я предпочитал те, которые бьют наповал.

Не так-то легко исправить пороки, к тому же и мнимые. Я врал ожесточённо, бессмысленно и глупо. Я придумывал себе какие-то особенные способности, я участвовал в невероятных приключениях, был отважен, остроумен и хитёр. Но это было только воображение.

Вырос я взмахом за лето, на другой год поступил, но третье осталось непоколебимым.

Она уехала в Москву, поступила в актрисы, и на несколько лет о ней позабылось.

Я потихоньку учился, разгильдяйничал и зарабатывал разгрузкой вагонов и продажей книг. В Городке книг немало, но известные уже раскупили, а о других ещё не слыхали.

В благодатной и обширной нашей стороне некогда привольно гнездились залётные иностранцы, бежавшие с возлюбленных родин, кто из бедности, кто от революции, а кто и просто потому, что бежали другие. По этому случаю и образовалась Басурманка. Жили там германцы, голландцы, французы, поляки... Теперь, в свободолюбивом порыве, они оптом записались в немцы и побежали назад, растекаясь по объединённым отчизнам, питавшим их новыми мифами. Так что старые они за собой не потащили. И грядка букинистической торговли зацвела.

На стипендию я притаскивал рюкзаки книг. Они прочитывались и уносились обратно...

*

На площади громоздились коробки с новым товаром. С краю всего этого блестящего великолепия теснились мы. Утро начиналось с раскладки. Я укладывал свои два метра полусотней томов и открывал торговлю.

Не желая во что бы то ни стало выручить прежнюю цену, я не ждал «своего» покупателя. Если книга прочитана, то хватало и половины, что с лихвой окупало всё.

Ближе к полудню начинало немилосердно жарить. На глаза букинистов надвигались козырьки и бумажные шляпы. Я укрывался томом пошире и выкидывал главный свой козырь — называл желанную сумму и предлагал прицениться так, как было бы выгодно покупателю, попутно забавляя его прибаутками с намёком на то, что книгу можно взять и бесплатно. Но человеческая совесть, к которой взывал мой вид, никогда не оставляла меня в накладе.

Соседи по рынку так и не решились перенять этот способ. Для взаимного счастья их цены были слишком высоки.

Однажды, с полупустым рюкзаком, я неспешно шёл по бульвару домой. Меня окликнули. Я оглянулся и увидел Нелли. С последней встречи прошло несколько лет. А теперь она стояла передо мной и никуда не спешила. Я так твёрдо позабыл её, что поначалу разговор больше крутился вокруг «ну как ты», пока лента памяти не двинулась вспять. Теперь я смотрел на неё уже без прежней робости, а совершенно так, как смотрят на старого приятеля, с кем мирно и давно разошлись. Но чем дольше мы говорили, тем сильнее действовали на меня прежние чувства, которым хотелось поддаться меньше всего.

Спустя три дня я посадил её в поезд. А через месяц поехал навестить. Это и было то, чего мне так не хватало. Наверное, всякая история состоит из подвигов... Что делать? Иначе она будет скучна.

Всё следующее — урывки, как если бы случилось слишком давно: вокзал, где не знал, куда себя деть; украшенная розовым венчиком встреча; разговоры, поездка в прославленную поэтову вотчину и длинная тропка к легендарному дубу, где мы ссорились с каждым шагом; набег на княжеский сад, мешок антоновки и бегство сквозь железные прутья ограды, перед которыми бессильно остановились сторожа.

Но как яблоком нельзя утолить аппетит, так и я только впустую растравил свои чувства. В Москве мы расстались. И тут уж сошлись пустота души с пустотой в кармане: едва я помахал рукой, как опомнилась голова — деньги кончились. В руках — забытый мешок яблок...

На улице не засидишься. Нужно куда-то идти. Когда не знаешь, куда, — иди к центру. Народный уже за спиной. Впереди Московский.

Тогда на Арбате я зашёл в маленькую, нелепую на фоне «книжных» небоскрёбов, церковь. Молодой, в джинсах, по-московски мордастый поп, на мои всхлипы кивнул на икону... Потом я валялся в ногах у Божией матери, ночевал на вокзале, нахрапом лез в поезд — прощай, столичная удача. С тех пор я не люблю Москву и яблоки. В каждом из них — червячок. И пусть ты хоть трижды уверен, что плохое есть он не будет, но лучше уж думать, что

человек хуже червя. В конце им достаёмся и мы — сколько и каких бы яблок ни съели.

*

Кроме любви, юность наполнена пространством, в ущерб самобытным фантазиям детства и отсебятине отрочества. Она выходит за пределы дома, двора, района и занимает собой все те места, куда может проникнуть подозрение о бесконечности мира. Наверное, к старости человек естественно становится космополитом, оставаясь патриотом одного только прошлого.

Если взлететь из помойной лужи двора — выше тёмных сараев, домов, крыш, тополей, колоссальной мельничной башни, то увидишь широкое тело реки, вязью проток расчертившей свою бесконечную пойму. Вся огромная эта равнина наливается полыми водами. Рыбы островов, тесно схваченные сетью стариц, уходят тогда в блаженную глубину, объявляя себя только робкими вершинами утонувших лесов. Равнодушная мощь её мускулистой руки легко подгребает всё, что встречается у ней на пути. И плывут тогда в мутной воде лодки, брёвна, дома и мосты. А иногда прибьет к берегу чьё-нибудь неудачное тело.

Островитая наша река перекинута мостами. Первый из них — Кошачий — на остров. Я помню только опоры, которые остались от него. Мать видела его новым, красивым, с протянутым поверху канатным хребтом, с мягким дощатым настилом, с ласковым деревом поручней. Там, по рассказам, отец обаял её не то Ахматовой, не то Ахмадулиной.

В те времена строить у нас уже разучались, так что мост простоял недолго и рухнул в год моего рождения под согласным пионерским топом. Я застал только его высокие башни с торчащими сверху оранжевыми солнышками отражателей, лихие брызги ныряльщиков и плески солнца в воде. Впрочем, вёл он в никуда, а теперь его и совсем затянуло песком.

Мосты в Городке весьма примечательны. И если первый судьбою наполовину схож с Египетским в Петербурге, то железнодорожный, перекинутый на восток, напомина-

ет другое, куда более западное сооружение — известную башню во французском Париже.

Окрестности Городка изобилуют множеством ничтожных селений с большими названиями — Москвой, Варшавой, Прагой, Берлином, Ниццей и даже Вавилоном. Есть среди них и Париж — захудалая деревенька в полсотни дворов. Примечательного в ней нет ничего, кроме разве двухэтажной бани, срубленной без гвоздей в лучшие времена. Находится она точно позападнее Городка.

Мост этот построен в эпоху нашей восточно-железнодорожной лихорадки, о чём там и сям твердит на рельсах клеймо КВЖД. Сделали его с большим толком и на долгую жизнь. Открыть движение должны были через месяц, да тут прошёл слух, что будто бы объезжает с ревизией отдалённые владения Великий князь и что, де, вполне даже может навестить Городок. И ничем бы его не удивить, как одним только мостом. Но нельзя — мост не покрашен, а мужики не торопятся — «аккурат впору поспеем». А гость, глядишь, раньше заявится... Тут и взялись три цыгана: «Точно в тридни покрасим!» И покрасили... Мост родился недоношенным и досрочно облез, а князь не приехал. Спустя четверть века затеялись, говорят, французы обновить Эйфелеву башню. Своих охотников не сыскали и подрядили нескольких наших флотских. Они и покрасили... За три дня! Ещё через несколько лет поднимался на эту башню в числе военнопленных и дед — до первого — по-русски второго этажа, куда хорошо долетал голодный запах жареных каштанов и кофе...

*

План Городка — страница в клетку. Проспекты стекают к реке, а улицы рубят их на кварталы. И только лихие переулки, запертые в квадратную столичную геометрию, самовольно расходятся вкривь и вкось. Центр — Московский бульвар — от реки вздымается вверх. Поперечины старых улиц — вся наша литература: улица Пушкина, где он не бывал, изгибом трамвайного рельса переходит к старинной аптеке, где ночевал Достоевский. На стыке с Московским бульваром она — средоточие Городка. Тут столпились

остатки городской старины. Здесь — центр всякой общественной жизни: наискось стадион с футбольными криками, прямо — липовый сквер, в центре — новенький памятник Пушкину, куда стекаются голуби, влюблённые и разноликие общественные чувства. Поставлен он поэту поэтом.

На Пушкина он был бы похож совершенно, если б в растущие из плеч бакенбарды не было вставлено другое лицо. На нём два чувства в одном — радостное недоумение, но по-своему и оно вдохновенно. Кто оно, Городок узнал вдруг.

Железнодорожный диспетчер Петров готовился к повышению, когда на него низошла муза. Была ли она коллега-кассирша или легкомысленная проводница, неизвестно. Важно лишь то, что Петров внезапно обрёл необычайное поэтическое томление, вылившееся в сборник «Тропы». Этот дебют сразу стал в Городке притчей. Хорошая половина книжки была исписана именами коллег-меценатов, а вторая являла благодарственные рифмы сомнительных прозрений и наблюдений за общественной и личной жизнью последних.

Вместо обычной своей средненькой фамилии он взял псевдоним — Воробей. Состоялся он из поэтического брака Володи и полумистической Розы, объединённых модным призывом именитого восточного иностранства, который, вместе с тем, был должен пресечь покушения завистников.

Сборник составил из двух-, трёх- и четырёхстиший. Заключала книжечку поэма с железнодорожным мотивом «Тело».

Но железная дорога не терпит поэтов. Уволили его с той же внезапностью, с какой его охватило вдохновение, после того, как он стал пользоваться громкой связью в поэтических целях. Скоро Воробей стал знаменит.

Открылся памятник так: в сквере ещё собиралась и шумела толпа, когда на постамент взобрался Воробей и стал декламировать «Я памятник себе воздвиг...», после чего перешёл к «Я лиру посвятил...». Публика, пристыженная поэзией, замолчала. Поэт выкинул руку в направлении прославленной аптеки и выпалил: «Пушкин — больше, чем наше всё. Пушкин — это мы!». Следом свалилась тряп-

ка, и народ увидел знакомую фигуру поэта. Воробей именником сиял рядом с новорождённым, пока кто-то не обнаружил явное портретное сходство памятника с вдохновителем...

Позже уже распознали и тайный смысл напутной речи, и что слова под ногами не вполне пушкинские, да и... Впрочем, воробьиная цель была достигнута. Строптивая и вычурная судьба поэта. Стратегия его оказалась шире поэзии. Спустя месяц он объявился в столицах, где через полгода выпустил повесть «Уста». Писал он о нуворишах и соли для «Уст» не жалел. О том, как их благоустроенные души радостно трепетали от звонких пустяков и завидовали диковинным унитазам соседей. В именах персонажей он вспоминал теперь многих, кто когда-то его поощрял, и переводил бумагу космическими тиражами. Себя узнавали и ненавидели Воробья и его мемуары, неизменно похожие на доносы.

У Пушкина я присел на скамейку. Это то место, где, просидев день, можно увидеть половину знакомых и даже дожидаться тех, с кем хотел бы встретиться, но свидания не назначал.

На повороте развернулся рекламный плакат: «Чти память отцов. Живи, как мы». В сочетании с Пушкиным и памятью о Воробье это было похоже на заманчивое приглашение на работу от гильдии гробовщиков, так что я невольно перенёсся в Питер, к парусам перетяжки на Офицерской: «Последняя коллекция Джанни Версаче: «В лучший мир — в лучшем виде»...

Между тем, к скверу подъехал чёрный длиннющий «хаммер». Из него вышел человек в длинном пальто. Он вытащил из кармана мобильник и стал листать адреса. Неуловимую знакомость его движений ещё усилил поворот головы, а жест, будто старательно вытирающий что-то под глазом, вытащил из невыносимого далека имя — Гришок.

Ровный ход моих воспоминаний прервался, будто я одним махом перескочил все времена, но так и не смог достичь настоящего. Всё это было таким далёким прошлым, о котором я мечтал в детстве и в котором совсем не мог вообразить нынешнего настоящего. Я мигом вспом-

нил «фазанку»*, первый день, когда нам выдали охапки уныло-синей, но страшно крепкой униформы. Плащ, костюм и зимнюю шапку для учёбы, рабочий костюм и ботинки для практики. Форму выдавали всех размеров, но беспорядочно и потому все начали меняться. «У тебя какой размер?» — «Сорок шестой». — «Давай мне, у меня пятьдесят второй». Не спрашивали только Гришка, которому просто свалили то, что не подошло никому. Тем самым его изначально определили в шуты, не подозревая, что этот подвох вернётся и сразу, и ещё много раз.

Мы возвращались с обеда, когда увидели все свои скучные, но новенькие вещи весело висящими на кабеле, перекинутом от стены класса к цеховой крыше. Мы никогда не узнали бы, кто был этим изобретателем, если бы спустя пять минут мимо окон, под наши возмущённые крики не продефилировал Гришок в той самой, но чистенькой и прекрасно сидящей форме. Больше всех злился Славик — надежда сборной Городка по хоккею. Гришок будто нарочно нанизал одежду так, что самые рослые оказались впереди, так что дольше всех ждал именно Славик. С этого дня началась вражда, в которой сила схлестнулась с хитростью... Славик давил, Гришок уворачивался.

Гришок давно уехал, а я шёл всё тем же мысленным путём дальше и урывками вспоминал, как мы сидели в пэтэушном квадратном классе и ждали математика.

* Фазанка (ФЗУ) или путяга (ПТУ) — теперь подзабытые названия начальных профессиональных училищ. Некогда они были предназначены не столько для подготовки квалифицированных рабочих, сколько для эффективного контроля над теми, кто по разным причинам не смог удержаться в обычной школе. Уровень знаний выпускников оставлял желать лучшего по той причине, что большинство из них уже по самой своей природе не могли ничего усвоить. Впрочем, остроумная система обучения возмещала недостатки головы ручной практикой, которая начиналась тут же, в заводских цехах, где какие-нибудь дяди Васи или тётки Маши учили выполнять несколько несложных операций. Теперь все эти фазанки и путяги поменяли названия и называются колледжами и лицеями. Это последнее особенно веселит, если представить себе, что и первый наш лицей — тоже «путяга», куда удивительным образом затесались и князь Горчаков, и Пушкин. По логике, это и Царскосельский парк низводит до производственных мастерских, о чём некогда прозрачно задумывались иные поэты, организуя свои поэтические цеха.

Игорь Петрович — бывший борец и наш учитель — зашёл с двухпудовой гирей в руке: «Сегодня зачёт. Кто не хочет думать, будет поднимать гирию. Десять раз — пятёрка, девять — четвёрка, восемь — тройка». Расчет грешил ошибкой, но переспорить учителя было невозможно, а думать не хотели все. Гиря стояла на кафедральном возвышении. Выходили по одному и поднимали кто сколько сможет. Маленький щуплый Гришок был последним. Под общий смех он долго шёл из конца класса, снял пиджак, засучил рукава, плюнул в ладонь и обошёл гирию кругом.

— Давай, Гришок, покажи класс! Смотри не пёрни! — раздавалось вокруг.

Гришок дёрнул гирию, чуть приподнял её и разжал руку. Двухпудовая чугуныка хлопнулась на ногу Славику. Тот взвыл, подпрыгнул и упал. Славик с раздробленной ногой оказался в больнице, а «шуту» дали отставку.

Говорят, в беспутные девяностые он свёл счёты со всеми. И благо, что я не числился среди его врагов. Этот мастер нестандартных решений давно перерос своё отроческое полуимя и теперь его, невесть откуда взявшаяся сажень была Григорием Васильичем — большим бизнесменом, будто детская порочность разрослась до большого греха.

*

Недоумение поэта понятно. По мысли Воробья, Пушкин должен был бы стоять среди книг. Но их давно оттеснили на рынок. Ярмарка теперь — лишь короткий рядок между фруктами и штанами. Книги здесь окончательно превратились в товар. Людные торжища прошлых лет запустели. Покупатель стал штучным. Потому и книги — не те, что читают, а те, что смотрят не покупая, — тот антиквариат, который немногие отваживались выносить прежде и держали, как сокровище, дома.

Я взял массивный том в «мраморном» с кожей переплёте и перевернул толстую корку. Книга называлась «По следам столетий» и рассказывала об эволюции Земли от начала Вселенной до создания человека, двусмысленно мешая Дарвина с Богом, что прозорливо подтверждали

ходули, на которых шёл по листам громадной развёрнутой книги человеческий скелет.

Эти книги, со своей жёлтой, будто пропитанной опытом, бумагой, буквами, как бы переводившими их на «иностранный», но отлично понятный язык, и до сих пор казались непререкаемым авторитетом. Так что даже Писемский, в красном, с виноградной лозой, переплёте, представлялся если не умнее, то ценнее современного лакированного Толстого.

Старые книги открывали другие, неведомые эпохи, когда всё имело свои имена. Древность тех времён была тем таинственнее, чем непонятнее были вещи, которые можно было назвать этими словами и исчислить непостижимыми цифрами, наподобие древнерусской колоды — числа в сто миллионов. Тем более странен был низкорослый Серёга Колода.

Из этих книг я узнавал то, что было так необходимо для игр: что индейская трубка мира называется калюмет, а настоящее имя высочайшей горы — не труднопроизносимая школьная Джомолунгма, а Гауризанкар.

Странные слова, что встречались на жёлтых страницах, издавна вели во мне тайную жизнь и по причине устарелой стыдливости почти никогда не показывались на поверхность. Зато давали понять, как многое перешло из одного состояния в другое — переродилось без права возвращения. Но жизнь и знания соприкасаются редко. А жаль, ведь от знания мир становился населённее, шире, богаче. В нём, например, как минимум, вдвое больше народов: зыряне и коми, лопари и саамы, черемисы и марийцы, гольды и нанайцы, тунгусы и эвенки, самоеды и ненцы... Жаль, что об этом многообразии можно только мечтать.

Благодаря этим книгам я знал, что «сс» — это не фашисты, а невинный, усечённый былой редакторской застенчивостью до двух букв «сукин сын», так же, как «кмс» — не кандидат в мастера спорта, а князь мира сего. Знал я и то, что ранжир — это строй по росту, тот самый, который открывал мне перспективу взросления. Тем более, что слева от меня строй замыкал всё тот же маленький толстый Серёга.

Желание взрослости не существовало отдельно и было связано, прежде всего, с ростом. Лучше всего это по-

нималось в физкультурном строю, когда поворот головы по команде «равняйся» показывал собственную дальнюю перспективу, в которой длинные одноклассники становились недостижимой высотой. Всегда предпоследний, в утешение я вспоминал фразу из старинной же книжки под названием «Медицина страстей», что средний рост лучше и низкого, и в особенности, высокого. Это и огорчало и успокаивало, ведь в 12 лет есть ещё шанс дорасти. К тому же эта фраза невольно совмещала меня с самым началом строя, так что я становился столь же «неполноценным», как и наиболее рослые в классе.

Старинное и позднее вызывало недоумение во всём, что касалось его существа от слов до продуктов, взяты хоть то же прованское масло, которого следовало добавить полпачки. Какие тогда были пачки? И что за прованское масло? Зато прояснялось другое. «Крутые чуваки» ранней молодости вызывали бы недоумение, если бы не поваренная книга, в которой проверка готовности яиц состояла в кручении, скорость и размеренность которого и определяла результат.

Эти книги были чем-то иным, нежели поделки нынешних книготорцев, единственное достоинство которых в том, что написаны они букварным языком. Сменились и продавцы. Нынешние уже не отличают Писахова от Пейсахова.

Я положил книгу и пошёл к выходу, над которым развернулось полукружье рекламы: «Чай, сахар и сладости от ЗАО «Каратель». И эта иностранная «т», вдруг подменившая прописную русскую «т», была тем самым сукиным сыном, который дорос до последнего негодяя.

*

Перед выборами книгам в Городке предпочитают комиксы. Снаружи рынок сплошь заклеен плакатами. То же дальше по улицам. Лица: брови, губы, глаза — с прицельно прищуренным взглядом. Эта портретная внешность похожа на греческую калокагатию — давно захосший рулет из красоты, благородства и честности. Но всё здесь — метафора и фотешоп. Чем ближе к вокзалу, тем всё больше они обступают меня и других. Счесть их

нельзя. Подвох и начало сомнений: чёт или нечет? Реш-ка? Орёл?

Депутаты — слуги закона. Как и дóлжно холопам, они всегда пытаются потихоньку надуть господина. И прекраснодушный барин сносит хамство своих домочадцев. Они ему — память о собственных детях. Но те поразъехались, где-то служат и писем не пишут. И он знает, что пишут за них эти самые воры. Читая ему по утрам, перед столичными новостями, письмо Алексея, Софьи или Константина, они подражают всему, что связано с ему дорогим: сыновней или дочерней любви, голосам, выбирают слова, которые утешат одинокую и забытую старость. А слепой и давно уже полуглухой барин только кивает головой. Он давно позабыл, что когда-то за эти самые «письма», обнаружив подделку, он нещадно порол хитрецов на конюшне. Но теперь уже поздно. Да и зачем? Не они, так не было бы и голосов. Одно только — чтобы не завирались, их нужно менять. И меняет. Раз в год, в два, три, в четыре... Но чужих дворня в дом не пускает. И чтобы вечно ходить в фаворитах, меняет себе имена.

Кандидатские лица — всегда временны. Месяц-другой, и то, что было нарядом, сдувает ветром или смывает дождём, смотря по времени года. И если везёт, то они обдирают с заборов лохмотья бумаги и облачаются в скромность. Их больше не видно, не слышно. И только где-то идёт напряжённая работа... Теперь они — живописцы. Ретушируются портреты детей в барском алькове. А гримасы у зеркала — тренировка осанки, позы, лица — на случай, если барин прозреет: чтоб не смог отличить.

Так из временного, из бумажных лохмотьев, они переходят в групповой семейный портрет: вот барин — Тихон Иваныч, по́одаль — дети, а в прежних пустотах, поближе к усам — всё они — Нюрка, Сенька и Пашка. Но теперь они — Анна, Павел, Семён. И, сличая черты, ненароком вспомнишь поголовно родственный троюкуровский двор.

Все они — самозванцы. Но хитрый их ум теперь уже знает, что главное — стать легальным и тем закрепиться, может быть, навсегда, чтобы потом уж совсем подменить Тихона Иваныча. Беда только, что Тихон Иваныч один, а их много. Но чтобы упрочить своё, даже маленькое местеч-

ко, нужно пройти неприятную процедуру. Самозванца должны дополнительно выбрать и тем самым умножить его силу законом.

Сегодня все они на виду и многие лица известны. Большинство — чада прежних избранцев. Учились все вместе — в трёх-четырёх окрестных школах, куда по пути из дома не нужно было переходить дорогу.

Школа была тогда — в застольные, давно прошедшие времена, которые, по странному капризу всемирной души, теперь вспоминают с тоской не они, а другие, что до сих пор недоумевают, как всё стало вдруг и быстро меняться. Есть чему удивляться. Жизнь началась свысока. Первый путь в школу на пике олимпийских побед. Два года игр, уроков, школьных звонков, тишины. Уже сообщение о смерти Безбрежного было так же странно, как если бы вместо этого по радио объявили, что в Петропавловске-Камчатском — полдень. И вот уже солнце клонится к закату: за сбитым боингом объявили Передел и следом рванул Чернобыль. Дальше — «Нахимов»; Семь Симеонов ждут, кто первый начнёт и вот уже Руст оскверняет Красную площадь... Школе — конец. Ещё по привычке, будто в предчувствии перемены, мы застыли в позе ожидания оживления. Но тут, словно под точными ударами олимпийских палиц, разлетелась страна. Дальше миг тишины, потом крики, суета и толкучка — базар и вокзал.

И пока одни слагали нули на «счастливых билетах», *этих* подсаживали в «счастливый вагон». Они и теперь ездят, не зная границ, а тут, чтобы попасть в Омск, едешь по границе, до краёв заполненной утробными звуками местных напевов с неизбежным призывом Азии: Алма-Ата превратилась в Алматы, Тува в Тыву, будто стали размножаться чугунные сибирские названия, от звуков которых бросало в дрожь во все времена: Тобол, Сургут, Надым, Барнаул...

Все они здесь по той же причине, по которой в школе нельзя было разгадать, почему в классе «А» учились почти сплошь медалисты. В «Б» — разгильдяи, «В» был спортивным и рослым. Всё это как-то определялось заранее, когда, кажется, дети все одинаковы — ведь заслуг ещё нет.

Быть может, сами алфавитные звуки накладывали свой отпечаток, подчиняя всех нас своей воле?

Уже потом от крайнего «В» стали отламываться «Г», «Д» и «Е» — тусклые чадолюбивые вспышки последних спокойных лет. И благо, что эта сословная азбука так и не состоялась. Продолжи считать по-старому, «Я» бы вышел кривым, заморённым дебилом.

Вот этот учился двумя классами старше. Не идеально. Но умудрялся быть завсегдаем Артека. И хотя к морю был равнодушен, а моряков в его семье не было, фамилия его была Штурман. От имени или по-другому, он всегда казался фальшивым. Я помню его человеком круглого характера, что никого прямиком не обидит, но накатится и раздавит. Он всегда хотел верховодить: сперва пионерил, потом комсомолил. Попартийничать не успел, но отучился и начал преподавать в университете. Там его всё за ту же круглошарость называли «сосуд невинности». Но некоторые злопыхатели как-то оглушали это почтенное имя. Была в этом какая-то иносказательная правда. Ведь сколько ни уличай и ни обвиняй шар за форму, никто не поверит, да и не сможет ничего изменить. Врождённая постепенность степени как-то не становилась. Но шар путей не ищет. Он, наконец, — кандидат в депутаты. А что же с наукой? Да и была ли она?

Его программа — вернуть городку историческое имя. И тут я с ним заодно. Пусть хоть так, ведь, имей он замысел поживее, ничего всё равно не случится.

Через дорогу — доска. Здесь почётные граждане. Одноклассник Борис — крутой бизнесмен и слегка меценат. Он всегда любил поговорку о времени и деньгах. Она неуклонно распадалась надвое, где время — чужое, а деньги — его. Мысль эта воплотилась уже в третьем классе. Но позже вышла боком. Ещё долго, пока Борька не сменил школу, Антон пытался наказать его потому, что тот когда-то купил его свободу за рубль. Сила этого ржавого, покалеченного изуверским молотком рубля была такова, что он, взяв его, прослужил до конца дня. Почему Антон не забрал рубль совершенно даром, а вытерпел до самого вечера? Потом он, конечно, дал Борьке пинка, зато с выражением покорности и отвращения честно

носил его портфель, вызывая изумление и зависть на нашем лице.

Не все становятся бизнесменами. Но всем приходится платить налогу судьбе за счастье и за удачу. И нет таких, кто смог бы избежать этой подати. В конце концов, жизнь — только аренда душой тела у Господа Бога, как в кредите с отсрочкой. Но потом неизбежно нужно расплачиваться. Договориться нельзя, и каждый платит в назначенный срок. Мы все живём в долг, и долгожители мы — только в этом смысле.

Но есть и другие. Эти платят посмертно. Они видят насквозь и не идут на кредит, не веря в Бога, не веря в судьбу. Таков был и Стас. Он хотел других обязательств, не зная, что жизнь нельзя поменять на другую, а только на смерть. Он благоденствовал бы сейчас так, как другим никогда не приснится. Но ему не досталось даже «билета». Сначала талант — всё достать, всё найти. Это он заполнил «ракету» припасами, которых хватило бы до края Вселенной. Но, как не взлетела ракета, так вот и Стас... Плохое всегда случается вдруг. Всё закончилось быстро: достал, заложили, сел и погиб.

*

Старый вокзал далеко, под горой. Новые здания, как блестящие фиксы стоявших здесь когда-то цыган, встают на знакомых и новых местах. Кинотеатр за десять копеек — бутик. Бизнес-центром стал дом пионеров. Всё гуще реклама. Новое кафе — архитектурное чудо — трёхэтажный «футбольный мяч». Окна — чёрные и белые «пентагоны». Это я уже видел: держусь за отца. На пустыре громадный сетчатый шар. Внутри — мотоцикл. Он носится взад и вперёд, вниз и вбок. Вонь, вой, вздохи и вопли. Ожидание — упадёт или нет?! Другие времена — другие шары.

Ближе к вокзалу — хуже асфальт. Мысль городско-го начальства непреодолима, как физика: чем больше людей, тем хуже дорога — и не возразишь. Ещё снег, оттепель и мороз, и всё дальше по закону скольжения. Но упругая бодрость земляков непобедима. Так что шар-кафе — памятник здоровью и наш ответ всем чемберленам на свете.

СВЕТ В ОКНЕ

Одни дети мечтают во сне,
другие дожидаются дня,
чтобы предаться мечтаниям.
Следует дважды подумать
перед тем, как будить
спящего ребёнка.

Дж. Кутзее. Осень в Петербурге

Вечер будто указывает направление. Скоро уже вокруг обступает толпа, снаряжённая рюкзаками, поставленными на ручные тележки клетчатыми сумками, авоськами и всем тем, что больше самого человека, его торопливости и устремлённого взгляда говорит о готовности отправиться в дорогу.

Широкий перекрёсток с трамвайной линией уже позади, а людской поток всё несётся вперёд, к скрытой за углом автобусной стоянке. Справа — бесконечная вереница ларьков, слева — поставленные на ящики мелкие путевые припасы: сласти, пирожки, семечки, газеты. Всё, как всегда. Картинку, что проходит справа и слева, стоит лишь отодвинуть во времени и обставить другими домами, глаза уже знают...

...По Садовой стремилась безостановочная человеческая река. Берега её подпирались плотной шеренгой продавцов, рядом с которыми кучки мальчишек высматривали упавшую мелочь.

Торговались тут же или стремились к оптовым ларькам. Продавали всё, от спичек до оружия, для приманки выставляя детские пистолеты. Бабки торговали хозяйственной мелочёвкой, кто помоложе — штучной снедью — лимонами и чесноком, другие держали одежду, приплясывая с ноги на ногу.

«Спырт, спырт, спырт», — безостановочно перебирал у стены рычащим шёпотом кавказец.

«Чай, кофе, какао», — катила термос разносчица.

«Пиво — шоколад, соки — лимонад, газеты — сигареты», — частил пенсионер с тележкой.

Лохотронщики втюхивали «подарочные» духи или предлагали сыграть в лотерею. Карманники молча резали сумочки.

Вдруг вся эта гомонящая толпа, роняя товар, кинулась врассыпную. Раскатились лимоны «три за десять», опрокинулась коробка с носками, свернули в толпу кавказцы — милиция шерстила торгашей. Впрочем, тротуар ничуть не очистился и даже разбух до полдороги.

Дальше открывалась огромная мерзость площади. Это можно было бы назвать запустением, если бы посреди не торчали острова серых, вкривь и вкось расставленных башен над бесчисленным морем лотков, пустоты между которых заполнялись людским потоком...

Картинка ещё неслась вперёд, и неизвестно, куда привела бы меня, если б не испугалась металлического окрика, в котором объявления о посадке и отходе автобусов перемежались с предупреждениями. Я вышел на площадь. Длинная, как предпраздничный кассовый чек, тирада о сомнительных личностях, что не проходят медицинский осмотр, отрубалась классической рифмой: «Извозчик частный — выбор опасный». И этот «извозчик» вдруг обрастал в воображении тулупом, лёгким запахом сивухи, заломленной меховой шапкой, нагло-беспечным взглядом и коренастой уверенностью в превосходстве частной инициативы. Сами «сомнительные личности» не обращали никакого внимания на металлические слова и манили ездоков, по-цыгански перебирая географические чётки. Конкуренция торжествовала и, вопреки воспоминанию, милиции никто не опасался. Она была тут же и никак не противилась борьбе этих самочинных «самсонов» с «голиафом» автовокзала.

Высокая пропаганда вещала без умолку, но «голиаф» давился собственной силой: длинные пряди от касс уже не умещались внутри. Они вываливались наружу, расплетались, раскалывались и уже без сомнения тянулись к «самсонам». Победители указывали машину, курили напоследок, сплёвывали и давили на газ.

Я влез на переднее сиденье. Хлопнула дверь в салоне. Полетел в сторону раскрасневшийся в сумерках окурок. Машина тронулась и понеслась.

*

Последний автоматост через Кошь построен совсем недавно и своими плетёными конструкциями похож на крепко увязанную кóсу. Перед ним широким бантом лежит развязка. Обогнув одно её кольцо, автобус въезжает на мост и несётся по его стреле на восток, а затем, вдоль прихотливого колена реки — на запад, будто бы вслед уходящему солнцу. Оно липнет к горизонту, и синее морозное небо покрывается розовой дымкой вечерней зари. Тёмной полосой под нею выступает тяжёлая зелень хвойных лесов. Если не знать о лесах, то издали она кажется чуть приметным порошком. Но стоит приблизиться, как вырастает непроходимой стеной.

Солнце уже совсем заходит и оттого перспектива дороги сокращается, так что вершина её треугольника маячит где-то совсем близко. Но древесный вал только кажется беспросветным. На деле он узок, и его прорезает глубокая просека.

По сторонам проносятся белые острова — голые берёзовые кóлки. Они похожи на врастающие в небо колючие корни. Но то ли само небо уже перестаёт быть собой, тяжелеет, срывается с землёй, то ли земля подменяет его и возносится вверх, но при взгляде на дорогу из темноты кружится голова. И ледяные искры от фар взлетают вверх. А, может, падают вниз...

По краям дороги нет деревьев. В наползающей тьме они начинают светиться где-то там, за границей моторного шума. Если не чувствовать времени или не смотреть в окно, то можно проехать мимо — стрелка указателя мелькнёт слишком быстро.

У самой дороги ночью живут только заправщики бензоколонок. Днём к ним добавляются продавцы. Но этих давно уже нет. Потушены жаровни, витрины киосков наискось перечёркнуты полосами запоров со скромными замками по сторонам.

Дневная обочина — самая протяжённая в мире страна. Здесь вотчина разных фокусников, лохотронщиков и хитрецов. И сколько ни разгоняй их, идеал торговли — втюхать то, чего нет — не изменится. Шашлык кажется самым реальным товаром: хочешь — смотри, хочешь — пробуй. И если что-то не так, перец, уксус и соль убедят в совершенно обратном...

Страх всегда приходит, как затмение солнца: свет мертвеет, невидимый нож вырезает тени. Всё началось с шашлыков. Тогда все вдруг стали предпринимать. Это потом ходили разговоры о том, что людьми кормят норок. А сначала путники и туристы трепали истории о том, что дорожный кавказский шашлык — из собак. И правда, — оглядывались кругом, — куда девались несчастные псы, которых ловили своими петлями и сачками страшные собачники-живодёры? Может быть, именно там и тогда зародилась счастливая мысль о безнадзорном и вольном рынке? К старым слухам добавлялись другие: противоядие — в кошках: кинь, дескать, кошке шашлык: будет жрать — ешь и ты, а встанет в дыбки — бей кавказца по морде: подсунул собаку. И будь всё так же сейчас, кошки бы жили в довольстве, наподобие индийских коров.

*

Края дороги уже не видны. Изредка фары автобуса высвечивают кенотафы — столбики и пирамидки с венками — эти последние пристанища шофёрских душ...

Ехать около часа. Но это совсем уже не город, и добираться кажется дольше — снежная пустыня удлиняет и путает время.

Мелькает табличка. Едва успеваю разобрать слово под стрелкой. Мягко открывается дверь. Впереди — несколько километров по снежной дороге.

Габариты автобуса гаснут вдали. Слева и поверху шарит далёкий свет фуры. Луны нет. Звёзд много, но снег не отражает их свет.

Мороз крепчает. Развязываю шапочные уши, утыкаюсь руками в карманы. Идти нужно быстро — городская обувь не любит долгих прогулок. Скорей, скорей! Мимо

тёмных, выпуклых силуэтов лесополос, мимо белых полей...

Под сапоги стелет позёмкой. Но чем дальше, тем больше она поднимается и переходит в метель. Она бьёт по лицу, давит в грудь и натягивает штаны на колени. Почти позабытое чувство вытаскивает из памяти детское, от чего отворачивал лицо и воображал. Тогда метель представлялась горластой и любвеобильной дворничихой Анной, подметавшей школьный двор. Это она, с внутренней бранью выбравшись из тёплой постели своего очередного, заночевавшего у неё ухажёра, медленно шла до кондейки с лопатами, ломами и метлами. Выбирала инструмент и начинала мести. Потом, уже разогревшись, бралась за метлу и полировала. Но это последнее, сгоряча начатое, вдруг тормозилось; она повисала на черенке, думала о чём-то, затем вскидывала помело на плечи и поворачивалась к кондейке. Шла несколько шагов. Останавливалась. Вновь брала метлу наперевес и мощными, резкими ударами заканчивала начатое. Именно в этот момент она и создавала локальную, но величественную, бешеную вьюгу, под которую иногда попадал и я, так что мне не раз доставалось метёлкой по морде.

*

Тёмная длинная выпуклая тень лесополосы преграждает свет. Ориентиры — дорожная твердь и плакучий собачий лай. Под деревьями ветер стихает. Поднимаю голову. Небо уже завалено тучами, и только одна караульная звезда колючим зрачком смотрит вниз.

Немного шагов, поворот, и вот — свет деревни. Всегда тихий и жёлтый, он радуется и предвещает дом, печку, тепло. Чем ближе, тем накатанная дорога становится уже и переходит в тропу. Свет не доходит сюда, и опознаться можно только по сухому скрипу снега по краям, куда то и дело зарываются ноги.

Скрип калитки, несколько шагов. В последнюю секунду кажется, что собаки влаиваются — разрозненные их голоса становятся хором. Улыбаюсь, дёргаю дверь и вхожу.

Зимой деревенская жизнь размеренна и несуетлива. Её скрашивают фантазии и облегчают достижения технического прогресса — телефон, телевизор, приёмник. Не будь этих новшеств, зима всё равно была бы временем отдыха — ленивых движений и оживлённой фантазии. Как видно, поэтому и сочиняли когда-то в деревенских домах столько баек. Ведь сама изба всеми своими углами способна избавить от суеты и оживить тысячи застенчивых мыслей. Заветные сказки появляются не за стеной. Рождённые разухабной весной, они почти никогда не собираются вместе и расходятся по свету поодиночке и по отдельным словам. Здесь же они теряют свою похабную удаль и любвеобильная поповна превращается в царевну, а работник из Балды в Балдуина Шестого. Для всего этого нужно только закрашенное узорами окно и бесконечно ленивое время. Прерывается оно только хозяйственными мелочами — топкой печи, баней, обедом. Отец просто смотрит в окно, а мать переносит на ткань ледяные узоры. Как-нибудь утром возводится в крепостное достоинство кот и получает тёплое место под боком. Отец стряхивает кота и протягивает руку, мать обнимает. Все дома и желания исполнены. Впереди разговоры, ужин и сон.

Лежу и смотрю в темноту. Я в тёмной комнате стою в кровати, зарешёченной нитяной сеткой и гляжу вперёд, туда, откуда льётся свет и слышатся звуки. Подбородок на планке кровати. Держусь только им — ходить я ещё не умею. Осталось впечатление, что я смотрел тогда на себя со стороны. Очевидно, таким же будет и конец. Где-то там будут разговаривать люди, а я буду лежать, глядеть в «тот» — прожитый свет, в котором ещё будут слышны какие-то, уже непонятные разуму разговоры.

Я проваливаюсь в жаркий припечный сон и чувствую себя берегом и рекой: половину меня греет печка, другую холодит — прохладный воздух идёт на приступ. Понемногу тело окутывают тёплые мглы и над ухом склоняется небесный ночной собеседник. И теплеют, тают, текут в голову мысли. Они длинные, мягки, похожи на большой байковый рулон, который я понемногу толкаю.

Деревенские гости всегда спят до упаду. Расставаться с тёплым, нагретым одеялом жаль. К тому же в чистом воздухе сны приобретают предметную резкость и не стираются так, как это бывает в городе. Их вспоминаешь медленно и с расстановкой. Долго лежу, не открывая глаз, потрошу сны и тяну время. От этого понемногу приходит позабытое чувство: от долгого сна может зарости рот. Мать гладит по ногам и склоняется над головой. Долго смотришь на неё и не говоришь. Нет ни сил, ни желания. Рот пропал — он не нужен. Уже готов отказаться и от ушей, но кто-то свистит на улице и нужно встать и ответить. Нет, сперва надо поесть. Еда — лекарство для рта. Она разрывает узлы и развязывает язык.

Несмотря на «опасность», хочется ещё долго и безмятежно валяться, но вдруг становится стыдно: хозяйева встали давно. Трещит печь, прочищена дорожка, свистит на плите чайник. Медленно открываю глаза. В окно видно, как на небе стоит белёсая мгла, сквозь которую тихо пробивается солнце, так что шапки свежего ночного снега на крыше кажутся продолжением этой мглы — глазами нигде нельзя отыскать границы между ними. Или сам снег, до которого можно было дотронуться, весь уходит вверх, как бы выстроив купол, сквозь который просвечивает слабое солнце.

Ночной снег принёс тишину. Ту зернистую её разнообразность, которая так полна, что кажется, будто на сковородке громко лопаются пшеница. Глубина тишины такова, что даже кухонные звуки будто окутаны ватой.

Словно чужая моё просыпание, кошки валяются с печки. Громыкает ведро.

Окончательно будят соседи. К полудрёме примешивается чужой разговор. В него постепенно вкрадывается ход часов.

Изба ещё не приняла в себя запахи дня, и пахнет прохладным, въевшимся с незапамятных времён крахмальным духом жаренной когда-то картошки с лёгким призвуком шкварок. Запахов много, но этот — главный запах деревни.

Отец в кресле у окна читает газету. Рядом с ним солнце присело на подоконник и свесило «ноги» на пол.

Печка гудит и подтверждает: мороз. Огонь бодрится и довольно ворчит. От этого его разговора становится жарко, будто он в самом деле творит загадочное вещество — теплотвор. Исходит он отовсюду: от земли, от деревьев, от стен, но больше всего — от печки.

Завтрак окончен. Сажу у стола. Начало зимы, и морозы ещё только набирают силу. На морозном стекле звёзды, вихры и разлапистые пальмовые листья. Заменяв дерево пластиком, их почти совершенно изгнали из городов. Сами они недолговечны. Но здесь они останутся ещё очень надолго. От печного жара оконные узоры подтекают и между рам собираются лужицы.

Из окна первого этажа смотреть на улицу не так весело. Гораздо лучше, если окно приподнято над низкорослым кварталом и открывает даль. Но просто смотреть в окно — неинтересно. Куда лучше найти такое стекло, где попадают «сучки» — линзочки — особые узелки, которые ненароком роднят его с деревом. Именно через них было интереснее всего смотреть на лица проходящих людей или дома. Стоило нацелить глаз на такой «сучок» и совместить его с карнизом крыши соседнего дома, как карниз под воздействием неведомой силы «ломался», а лица людей безобразились — вытягивались или напротив, сжимались. Потому я и звал их *безобразниками*. Но, вопреки значению, всё, что с их помощью можно увидеть, очень образно, как интересен бывает калека по сравнению со здоровым, но безликим соседом.

Одеваюсь. Навстречу сама собой открывается дверь. Прежде невидимый воздух белеет и хлопьями льётся наружу. Входит отец. Белая «краска» облепляет его и он, не снимая перчаток, протирает очки старинным денежным жестом.

Заснеженный двор — белое полотно с несколькими ещё неглубокими тропками — знаками жизни. В слабой попытке задержать время, соединить осень с весной, их каждый день чистят. Но задержись зима ещё на полгода, как пугали нас в школе, и всё пошло бы в обратном порядке. Те же тропинки стали бы подсыпать, дома опустились

бы вниз, поднялись трубы, и вход в дом стал бы норой, подобной норовским подвалам. Эта неожиданная мысль отбросила меня к началу осени и разгадке странного желания пращуров жить под землёй. Это показалось приобретённой от нужды привычкой. В мысли этой я дошёл чуть ли не до времён ледяной Гипербореи, отчего захотелось созвониться с Сергеем Петровичем и поделиться с ним этой неожиданной мыслью. Но бумажка, что он написал мне, была в городе, и теперь я должен был несколько дней ждать обратной дороги и настойчивым нетерпением портить несколько безмятежных деревенских дней. Впрочем, всё вокруг: не зыбкое прошлое, а самое подлинное настоящее — отвращало меня от всяких стремлений. Свежий воздух, морозец, солнце и даже тени деревьев отбрасывали эти мысли. Нечего думать о чужом прошлом, которого нет, если то, куда я стремился, сделалось настоящим, а будущее придёт само по себе и пытаться догнать его бесполезно.

В проплешинах покрытого свежим снегом ещё недавно цветастого луга сквозит ржавая жесть палой листвы. Редкие, позабытые листья ещё висят на голых ветвях. Внизу ветра нет. Весь он вверху. Будто кием сбивает последние листья. Они падают точно, как в лузы — в пустой бак для воды, на поленницу, дом и сарай.

Листопад — уловка деревьев. Морозная зима нагоняет холодá буйными ветрами. И деревья берут у солнца взаймы. Ветры глупы и можно думать, этот боевой маскарад когда-то отпугивал их. Редкие перелётные листья были письмами. От переднего края они летели вглубь обороны быстрее птичьих стай и сообщали: готовьтесь к бою. Тогда, в незапамятные эпохи, когда медленнее крутилась земля, деревья выдерживали натиск и откидывали зимних посланцев. Долго ещё и потом они не бросали листьев, и тысячи лет цветá зимы были жёлтым, зелёным и белым. Но теперь ветры заматерели. И чтоб не сломиться, не упасть и не побежать, деревья раздеваются, как старинные гимнасофисты. И листья уже не письма, а крик: запорошить глаза — не дать испугаться, предупредить. Теперь зима лишь начинается жёлтым. Напирающие ветра будто упражняют деревья:

взад-вперёд, взад-вперёд — не ленись! И от того сила их возрастает. Деревья старше ветров, а потому и умнее. Не меняется только хвоя — сосны и ели. Они слишком стары, чтобы меняться. Как николаевские солдаты, они верны уставу и долгу. Они не снимают мундира и не бреют усов. Прирождённые воины, они молчаливы. Даже буря стихает перед их спокойной неприхотливостью, и мороз отступает. Это хорошо знает тот, кто бывает зимой в хвойном лесу.

*

Деревенский двор — маленькая страна. Здесь есть всё: собака, скотный двор, птичник, петух. На отшибе — гараж. Рядом мастерская — хозяйничать и мастерить.

Мои здесь недавно. Прежние хозяева живут теперь где-то там, в непонятной Германии. Они — как перелётные птицы, где год — это век. В них будто было заложено всё то, что мы с детства знаем о немцах — свастики. Вот она — жук, бумеранг, многоногое перекати-поле, накарябанное детско-немецкой рукой на ржавом листе жести. Теперь все они там и могут, если хотят, рисовать.

Сейчас это кажется странным, но прежде, несмотря на однообразную пропаганду, на стенах домов с одинаковой частотой появлялись и звёзды, и свастики. «Партизанами» и с той, и с другой стороны были кто-то из нас. Неожиданно я вспомнил старую чашку. Эта толстая, похожая на ступку тяжёлая кружка, которую дед среди немногих трофеев привёз с войны, будто знак вечности. Её было невозможно разбить, и она сохранилась. Теперь в ней лежал полосатый красно-зелёный носок с пучком моих первых волос. Они так белы, что носок нужен будто лишь для того, чтобы увидеть, что кружка полна. В детстве я был белоголовым, как эта трофейная кружка, которая даже воду превращала в сказочную арийскую сурью.

В подспудном расчёте на вечность на стенах пишут и до сих пор. Звёзд уже нет, и остались одни только свастики, но у тех, кто их рисовал и рисует, нет ни кружек, ни прошлого.

Позже, в юной гордыне, и я готов был причислить себя к этой расе блондинов. Но что-то сильно отвращало меня от бывших владельцев.

Из прибитого к коньку скворечника вдруг вылетает детский вопрос: откуда скворцы знают, что скворечники делают для них, и где они жили до этого? На это я и сейчас не мог бы сказать ничего, будто совсем растерял чувство, которое прежде подсказывало любые ответы:

— Птицы и деревья похожи.

— Чем?

— Перья — листья, крылья — ветки, и живут одни в других...

А потом — ради удалства убитый на пороге домика скворец. Всё исчезло, и ответов нет. Куда действительно попал камень? В него? Или граница детства — убийство? Жуки и бескровные рыбы не в счёт.

В мастерской, под кругом циркулярной пилы — опилки. От редкого употребления круг взялся ржавчиной. Верстак не убран. На нём стамеска, рубанок, кучка гвоздей. Это место тоже полно воспоминаний. Не тех, что торчат как привидения из тёмных углов. Для этого нужно посмотреть на инструмент, или уж подойти, взять заготовку, зажать в тиски, пощупать остроту рубанка и чиркнуть десяток раз по бруску, пытаюсь придать ему округлую форму. Ничего не беру, а просто смотрю на это запустенье. И раз уж в последние дни меня так увлекло детство, то грех не вспомнить. Вот она — отметина моего трудолюбия — почти отрубленный в детстве кончик указательного пальца.

Топорное воспоминание холодит душу и хорошо, что столярка теплее улицы. Здесь уютно пахнет деревом. Можно сесть на табурет и подумать. Под верстаком, под ногами, по всему полу — кучи стружек. Беру веник, но останавливаюсь, приседаю и тяну за прозрачный завиток. Куча шевелится и выпускает. Длинная, кручёная, мягкая стружка из-под фуганка. Месяц назад здесь строгаги гроб для умершей соседки. Обычно стружки сжигают, но с гробовыми не так. Их хранят до весны, чтобы, как требует поверье, выбросить в воду. Что будет, если сделать не так, никому не известно.

Детство, как и вся жизнь — подобна ровно оструганной палке с зарубками: садик, школа, женитьба... А всё, что вокруг, мы не видим, не помним, потому что это те стружки, которые составляли часть каждого эпизода, но за внешней своей малоценностью были заброшены в угол. Многие из них затоптались, обломились. Но многое ещё можно вымести из углов «мастерской» — расправить, рассмотреть, узнать, восстановить.

Детство требует мастерства, а тому уже приносятся разные жертвы. Кто-то пускает ракеты и обжигает руки, кто-то сверлит самопал и тот взрывается в руках, так что опять отрывает те же самые пальцы. Неуменше — от отсутствия ума и от страха. То же было у первого президента. Может быть, потому он так безоглядно тащил всех нас в бездну? Азарт его понять я могу, а вот чувства его были и раньше чужды. Что там взорвалось в его руках, непонятно, да и неважно. Гораздо важнее то, что он ничего не извлёк и ничему не научился. Мой рубленый палец сделал гораздо больше. В доме с печью — топоры и ножи стоят в запечье. Я дождался, пока уйдут родители и взялся воплощать мечты. Автомат был почти готов. Ручка чуть не вставала на место, когда сорвался и хлопнул по пальцу топор. Кусок пальца болтается на тонкой кожице, я вою и держу его под холодной водой. Но ведро не бесконечно, а другого нет. Помои густеют от крови. Я истекаю, бледнею, мертвею. Потом ничего... пустота. Очнулся оттого, что отец, вмиг скинувший сорокалетнюю тяжеловесность, безо всяких автобусов проскакивал квартал за кварталом со мной на руках. И это было весело. Я делал беспомощный вид и запомнил, что страдальцам прощают. Но это правильно только для родных. Во всех остальных это почти неизменно вызывает тоскливую неприязнь. Потому сострадание — недостижимый идеал, которому учат в церкви. Оно — как мой автомат. Идеал не может состояться. В последний момент топор неизменно срывается и сострадание уступает страданию. Ты будто делишься надвое, и душа сочувствует телу. От потери крови тело расслабляется. И чем больше выходит крови, тем всё сильнее сокрушается тело, тем сильнее жалеет, а потом

и скорбит душа. Соболезновать сами себе мы не можем...

Любая жизнь — мастерская. Приводят всех, но каждый сам выбирает работу по нраву. Кто-то чувствует себя токарем, кто-то слесарем, а кто-то и ювелиром. Другие просто сидят на табуретке и смотрят в точку.

Собирать стружки трудно. Железные — режут руки, превращают в лохмотья метлу. Деревянные — лучше, но и они застревают меж прутьев, прыгают из совка, разносятся ветром. Большинство людей до времени считает их мусором. Нужду в них чувствуешь вдруг, когда работа подходит к концу, а вокруг толпятся уже «помощники и ученики» — жена и дети. И ты переживаешь, мастер ли ты? И если не сидел на табуретке, то в любом случае — мастер. Что-то сделал и как-то научил. А уж как и что, оценить не тебе. Остаётся снять фартук, перчатки и уступить место. И если замысел был велик, то некогда уже убирать и разбирать какие-то стружки, которых не счесть, подобно тому, как нет числа у картинок детства. И трудно решить, что раньше, что позже. Это сейчас всё едино, потому что детство закончилось. И только, как гибкие стружки, возникает что-то потерянное и случайное — робкая жалоба: «Мам, меня петух укусил»; отрубленный топором кончик пальца; молочные густые усы; живительный свист емуранки; трепет рыбки в ладони.

Мои замыслы невелики и, быть может, останется время, чтобы собрать и как следует рассмотреть то, что считается сором.

В избе этот «сор» стал валиться на меня отовсюду, и с каждой щепоткой и щепкой я всё сильнее чувствовал себя потерянным ребёнком, которого, наконец, нашли. И теперь, стоило посмотреть в любую сторону, и тысячи подарков уже окружали тебя. И как тогда — испуганная улыбка — только не потеряйся, не уезжай.

Я вдруг решил записать эти случайные воспоминания. Уже несколько месяцев я был дома. Мне никто не писал и ручки засохли. Я стал пробовать их наперебор. Нашлась китайская — «с запахом». Её дешёвая вонь раздражала и сбивала с мысли, будто в голову настойчиво вбивали клин. И только спустя некоторое время я понял. Она пах-

ла свежими тополиными почками и чем-то ещё, что было уже не запахом, а намёком к чему-то, что требовало: найди! Но вместо того, чтобы бросаться искать, я продолжал сидеть и грызть ручку.

Сначала я взялся «охудоживать» своё прошлое без разбору и безо всякой почти цели. Воспоминания ускользали. Прошлое не останавливалось и продолжало жить само в себе. Неподвижность того свода небес, что был надо мною тогда, была только кажущейся. Облака там всё так же летели, на леске дёргалась рыба. Бывшее оказалось подвижным, и теперь приходилось думать, как изобразить его подвижными же словами.

Вопросы, вопросы... На одни уже отвечено опытом, другие — по-прежнему безответны. Да и есть ли ответы? О чём спрашивал я тогда? Почему трамвай нужно обходить сзади, автобус спереди, хлеб резать тонкими ломтями и какой смысл в «волшебных словах»? И эти. Но больше было других, тех, что были сперва недоумениями, а потом уже, потом превращались в вопросы. О чём? О том, например, что окошки на чердаке называются «слуховыми», а не зрительными. Кто слушает там, наверху? И кого?

И чтобы вытащить эти вопросы, нужно вспомнить себя: от начала и до конца. Но как? Быть может, смотреть на вещи? Теперь, позабытые, они стоят и лежат где-то здесь. Не все, но некоторые, порой не главные, прошедшие избирательный фильтр лихолетья. Сюда, подальше от шума и суетливой недавней жизни, перевезено многое. Где же оно? Этого я не помнил.

Растерянность порой прибавляет рвения. Нужно ходить по дому, вытаскивать ящики, подставлять стулья, лезть наверх и опять ворошить кропотливую память.

Мама: «Что ищешь»? Что на это ответишь? Ведь нельзя сказать, я забыл букву «с», когда забыл целое слово?

В холодных сенях — старый шкаф. Некогда его короткие ножки были препятствием для бабушкиной вездесущей швабры. Из опасений трёпки под него я закатывал обкусанные пряники. Только потом, спустя несколько лет, я понял, что они, лишённые прежде вожделенной глазури, могут быть неистощимым источником удовольствия, когда кончалось всё, что можно было погрызть в обнимку

с книгой. В шкафу дед хранил кожаные плащи с дырочками от кубарей на лацканах, обувные щётки и трофейную ваку. Внутренняя защёлка на левой двери шкафа при открывании правой начинала тонко вибрировать, так что во рту неумолимо появлялся вкус пепсиколы. Поэтому недостижимый для детства заморский вкус я знал наперёд, а когда попробовал этот напиток, то узнал в нём старого знакомого — трескучий вкус старого шкафа. Я помнил его долго, и порой, пытаясь прояснить мысли, покупал бутылочку пепси-колы. Обязательно бутылочку, ибо банка придавала дополнительный привкус, которого не было в детстве.

На гвозде, вбитом в шкафное плечо, хозяйственно висит немецкая банка из-под противогАЗа, последняя из тех, в которых дед высылал из Вены победные трофеи. Теперь банка пуста. Крышка проржавела посредине, так что от треугольника и загадочных букв AGV в его углах остались только кусочки. На дне выдавлено: CONCORDIA. Год, что-то совсем предвоенное, совершенно истлел.

Шкаф обманул. Он заставлен банками с вареньем. От дверного хлопка защёлка звенит, но старый вкус на язык не приходит. То, что он означал, — теперь рядом.

Я обходил все углы в надежде найти хоть что-то, что намекало бы на прежнее. И те места, где оно действительно могло бы найтись, отодвигал напоследок.

Фильтр переездов отсеял множество важных, но менее нужных вещей. И только ревнивая и хозяйственная бедность могла сохранить хотя бы основные приметы прежней внешности. Осталось немного, но самое главное. Максимальная концентрация знакомых вещей. Питерская прощальная мысль о духовном богатстве уже не казалась мне остроумной. Теперь её заменяла другая, что сожалела о переменах, о всяком движении вообще. Она стремительно развивалась, сокращая стремления до немногого — единственного и главного места, где надо жить и что нельзя потерять. Где они, эти растерянные вещи, слова, имена? Я недоумённо ходил по дому, пока не вернулся к столу. В нём не может не быть!

Старый дедушкин стол. Он ещё из тех, настоящих письменных столов, за которыми приятно писать. Современ-

ные столы не предназначены для письма. В их сияющих крышках нет той мягкой прослойки, которая подстёгивает и радует руку. Весь мир давно усадили за неудобную твёрдую парту. Потому и нынешние писатели так малословны: на твёрдом писать неохота.

Приземистый стол торопил: дорасти. К пяти его ящикам — ключ. Средний открывали по праздникам; боковые закрыты всегда. Всё детство я потратил на то, чтобы найти этот ключ. Но привлекало даже не содержимое, а сама идея стола. Всё в нём было от деда. Как ежевечерне он чистил всю семейную обувь, так же самозабвенно убирал он в столе. На расстеленной в ящике газетке только по ему известным пропорциям лежали все эти карандаши, линейки, циркули, ключи. Всё, что могло рассыпаться и потеряться, было разложено по маленьким коробкам. Потому и привлекал не столько стол, сколько эти коробки. Ведь открывать их одну за другой, значит почти бесконечно продлевать удовольствие. При этом, именно в коробках лежало множество восхитительно ненужных вещей: патроны от мелкашки, капсюли, пакетики с чернильным порошком, запонки, железные перья ...

Порядок в столе был недостижимым идеалом, к которому не было даже смысла стремиться. Ведь знать, что и где находится — не поэзия, а склад. И быть в жизни кладовщиком, пусть и хорошим, не слишком хотелось. Так думалось тогда, а теперь собственные залежи так велики, что всё это начинаешь сортировать с удовольствием, подобным тому, которое находилось прежде внутри каждой коробки.

В среднем — множество старых, ненужных, но добротных вещей — красный сургуч, очки для просмотра картинок, круглые тёмные деньги, среди которых когда-то хотелось найти баснословные старинные монеты, чтобы по-пиратски укомплектовать свой очередной клад. Боковые ящики, я был уверен, хранили в себе несметную пропасть коробочных тайн — побочное всегда скрывает главный секрет.

К восьми годам я догадался отвинтить ножку. Паз был предательски пуст. Стол упал. Я был наказан, но не укро-

щён. Тайна осталась и дальше — пытка многолетних ожиданий — когда все уйдут и оставят меня одного. Бабушка не выходила из дома неделями, а когда уходила она, оставался дед. Потом я смог открутить и другие ножки. Был найден и ключ. В ящиках — старые фотографии и дедовы письма с войны. Стариков уже не было. Для меня же всё только начиналось...

Я потянул за висячую ручку и выдвинул ящик. Тяжёлый альбом в ободранной по углам коже никогда не был спрятан, так что листал я его много раз. Теперь он поселился в столе. Пока не раскроешь, его живой кожаный вес, подобно весу сидящего человека, кажется больше. Он — одно из немногого, что не могло быть изменено моим собственным временем, за которое всё стало другим. Что говорить о вещах, если изменилась сама природа — даже зимы стали игрушечными, так что нынешние морозы похожи на прежнюю оттепель.

Фотографии, наклеенные на картонки с золотыми виньетками, уносили в неизвестную даль. Их строгие цвета — коричневые, серые и зеленоватые, лишали прошлое тех излишеств, что есть на цветных, всегда похожих на плохие рекламные плакаты. В цвете нет и не может быть настоящей перспективы. Там — только пространство. Время сломано и потеряло свой вкус. Теперь, чтобы эта его остановка не казалась подделкой, его нужно толкать. Стрелки этих новых часов стоят. Но земля продолжает кружиться. И чтобы поспеть за солнцем, нужно бесконечно лететь или хотя бы стремиться за ним — на запад. И оттого день не кончится. Он теперь — навсегда.

Здесь — другое, настоящее, где не надо никуда торопиться. Здесь оно ещё остаётся тем легендарным парижским метром, длина которого имеет неподдельную цену. Истина — как редкая буква, наподобие «э». Но она хороша только для них, для парижей. Нам лучше что-то другое, что мы давно растеряли. И чтобы уцелеть, нужно порой уцепиться, вернуться, посмотреть на эти картинки, на обороте которых другие слова и другие буквы. Стоило их истребить, и в чужую эфемерную даль поскакали уже не прежние тройки, а экзотические экипажи. Эпизоды:

эксплуатация — эмансипация — эвфуизм; эрцгерцог — эполеты — эскадрон; экспромт — эмиграция — экватор; экспроприация — электрификация — энтузиазм; этап — эшелон — эшафот; экономия — эрзац — эвакуация; эксгумация — экспертиза — эпитафия. Эпоха — эпитафия и эпилог. Эх-ма, в экстазе кричит какая-то шваль, и несётся вперёд, оставляя нам только эхо.

Далёкие и благословенные времена. Литые лица старых фотографий.

Дед родился в обильном, несравненном тысяча девятьсот тринадцатом году в зимней Туруханской глухомани. На уцелевшей карточке — молодая, двадцатипятилетняя дама в каракулевой мелкодонной папашке с куколкой младшего сына. В шестнадцатом она убежала от «испанки», в девятнадцатом прабабку догнал тиф.

На другой — двоюродный дед. Теперь и от него осталась только жёлтая бумажка о безвестно пропавшем бойце да несколько старых фоток. Остальную жизнь его жена просидела у окна. Говорят, она видела его лет сорок назад. Будто бы шёл он к дому, вглядываясь в наше окно, и женщина в красном коротком пальто тянула его прочь...

Мне кажется, что это больше похоже на отчаянный старческий сон, в котором желанное вдруг обрывается, чтобы вернуться в реальность. Старики всегда мечтают о прошлом.

Впрочем, изо всей почти столетней своей жизни, она помнила только осколки, которые легко уложить в дистанцию и меньшего размера.

В конце альбома — чёрный пакет с пачкой вялых изображений. Мы прыгали с гаражей и пытались заснять друг друга на фото. Потом, в темноте, в красном волнующем свете разглядывали полоски бумаги, удивлённо следя за полётом. Очевидно, мы летали быстрее редких самолётов. Ведь их было отчётливо видно, а здесь мы почти растворялись в воздухе, и книзу неслась только неразборчивая и полупрозрачная тень. Так что муть на снимках, где себя можно было только угадать, утверждала опасную и заманчивую перспективу невидимости.

Тогда, в настоящем, эти игры со светом, движением и тенью были простыми поступками тела. Здесь, на тонкой дешёвой бумаге, они превращались в телодвиженья души. Они захватывали в себя не только прыжки, но и мысль о них, страх перед бездной, азарт, решимость и всё, что было когда-то, но давно позабылось, а теперь вспомнилось и разрослось. Эта невыносимая скорость меняла и время. Ведь теория относительности — это практика детства. Детство — свет. Скорость его такова, что время в нём замедляется, и его постоянно торопишь. А, выйдя из него, понимаешь, что вырос внезапно, и всё закончилось так скоро, что не успел моргнуть. Моргнуть же — это было то самое, до чего я додумался на излёте детства. Именно взгляд тогда казался стремительнее всего, достигая луны, солнца и самых дальних звёзд, стремительнее самого быстрого света. Тогда было всё возможно: веселье целый день напролёт с мимолётными грустью и обидой, путешествия до краешков вселенных и бесконечность грядущей жизни, со всех сторон застланной неярким светом вечности.

Другой альбом полон открыток. В картинках, как в нынешних комиксах — античные мифы. Как и прежде, боги пируют, кутят, соблазняют, подначивают. Это та вожаемая праздность, к которой стремится всё человечество — командовать так, чтобы не уличили. Вот, сидя на облаках, боги держат совет. Ганимед наполняет бокалы, Зевс расслабленно обнимает Геру. Во всём здесь — единодушие. Дальше обрыв: выдран лист, и эти разнузданные и весёлые небоседы сменяются другими — теми же, но согласия нет и следа. Есть только страх. Вот Гера мстительно смотрит на Афродиту, вот Ахиллес волочит труп Гектора на глазах зарёванной Андромахи. А вот уже и Эней смотрит в заморскую глухомань.

Дальше те, чьих имён я долго не знал. Фебрис — богиня внезапной болезни. Тогда она была обнажённой бледно-зелёной дамой из незапамятных снов. Это она заставляла давить оральные нарывы на дёснах и наполняла уши смертельной, тоскливой болью. И вот тогда вынималась из шкафа синяя лампа и я, безостановочно

стена, лежал и смотрел на синий — прекрасный и болезненный мир.

Болезнь мучительна, цепка и вкусна как сочинский козинак, где остаются молочные зубы. В ушах гудит, и снится вечер, Сочи, шум прибора, склон дороги, пароход. Но нет ни моря, ни козинака, а вместо него — редька с мёдом.

Болезней много. Мать лечила их неистово и долго. Листая в постели альбомы и книжки, я быстро научился отличать патриция от панариция, так что палец в стакане с бордовым кипятком приобщал меня к Титу Ливию быстрее, нежели бы домчал гонец с Форума до Колизея.

То, что за все эти годы со мной ничего не случилось, будто рифмовалось со странной бабушкиной фразой: Господь бережёт и Бог бережёт. Так что казалось, что Бог и Господь — всего лишь правая и левая руки всемогущего существа, у которого имени нет, потому что он вобрал в себя все имена.

Старые вещи — как зеркало, как перепев. От лампы на дне сундука — в угол — к иконе. Связь их смутно понятна. На ней множество безликих фигур — выбирай кого хочешь. По лицам их будто долбили молотком, и поэтому для бабушки эта расхристанная доска была как бы живой и прямиком говорившей о страдании. Впрочем, страдание бабушка не культивировала, говоря лишь, что Бог терпел и нам велел, объединяя этим всех страдальцев в одно, которому она и поклонялась, стоя перед иконой в таком же синем волшебном свете. Он выходил из всех этих дыр и скрывал её так же, как лампа меня. Поэтому я никогда не видел её молитв. А, может, не слышал? Ведь синей лампой я лечил уши. А что лечила она?

История вещей — жизнь людей. История моих стариков — в гоголевской «Женитьбе». Вот только рассуждала об этом судьба. Она выступает здесь сильно постаревшей Агафьей Тихоновной. Но все ухватки при ней — судит она по-старому и слишком уж задним числом. Но, как и прежде, переиграть, изменить — невозможно. Стариков уже нет. О них всегда говорили: если бы по-другому, если бы та бабушка вышла за этого дедушку... Наверное, теперь так

и есть. Все они где-то там... А здесь, внизу, их связывают только икона и стол.

Пристрастие к книгам подобно болезни. В это время они умножаются так же, как звёзды после вечерней зари. Очарование их опасно — для глаз и для школы. Ведь затем и книги, чтобы видеть мир не сходя с места, а не носить их с собой. Так что набитый учебниками портфель за спиной — прямая дорога к отказу от книг. Книги — не верие в школу. Соблазн: не иди.

Не пойти в школу можно было двумя способами: обмануть сразу или в кредит. Сперва я предпочитал первое, а затем — второе. Первое кончилось тем, что в чайнике лопнул градусник. Я метался между тем, чтобы вылить «отравленный» кипяток и унижительным признанием вины, могущей испортить мою бездельную карьеру. Я сунул градусник под мышку и лёг. Ртуть нашлась потом на диване, и я счастливо отоврался лечебным усердием.

Второе было проще и романтичнее. Хрустальным морозистым утром идти по улице и шагом ломать тонкий матовый лёд до дна измороженных лужиц. Идти и бесконечно хрустеть и хрустеть этой «яичной скорлупой» под ногами. Теперь я обходил дом, поджидая, пока уйдут родители. А там возвращался, забирался в кресло и, обложившись какой-нибудь снедью, читал. Тогдашнее моё чтение сплошь состояло из островов: Таинственного, Сокровищ, Погибших Кораблей и всех вообще островов, которые только ни придумал человеческий ум.

В детских книгах всегда есть или должен быть остров. И на каждом — своё. На одном досматривать сны, на другом — увернуться от школы, на третьем — вечное лето.

Тех книг — немного. Они стары и слишком легки, будто от времени высохли их свинцовые буквы. Приключения Крузо — странная книга. Изданная для нерусских школ, она обильно уснащена картинками, а над каждым словом стоят ударения. Опять волшебство: «Киргизучпедгиз» приобретал вид богатого парижского издания.

Закладка лежала на той странице, где Робинзон размышлял о невозможности столкнуть свою лодку в воду. Это сходилось с тем прежним двором, в котором стояла такая же лодка, любовно и bestолково построенная соседом. Сдвинуть её с места оказалось никому не под силу. Всё лето этот образец сухопутного корабельства сиротливо и бессмысленно стоял у «причала» его сарая. Обесчестил её кто-то из тех, кто никогда не успевает добежать до туалета и всюду оставляет следы, будь то ножевые надписи на скамейках или копоть от спичек на стенах. Лодка была разрублена и сожжена, как сжигалось всё, что могло сгореть в наших прожорливых печках.

Мы топили их всем тем, что не должно было гореть — сломанными хоккейными клюшками со стадиона, где работал отец, лодками и бумагой... той, которую жгут с оглядкой — школьными дневниками и газетными речами поддельных вождей.

Вожди всегда были там, куда я стремился. Только ближайшими джунглями были наиболее окультуренные, сплошь унавоженные человеческим старанием места, где экзотику первобытной дикости заменяла история, расцветившая мифологическими цветами. Именно так Петербург стал казаться чем-то таким же дивным, как какой-нибудь выведенный Мичуриным царападус*.

А вначале я блуждаю по картам, выискивая в них значительные и сочные названия, как это свойственно тому периоду жизни, который напрочь отрицает данное и жаждет только невероятного, что чаще можно сыскать в одной уже красоте слов. И дела нет, что она не всегда совпадает с изнанкой. Что Азорские острова на деле звучат как Эзос, Балтика — Болтик, Испания — Спейн, а Сеул — просто стелька, отчего они кажутся уже не такими таинственными и недостижимыми, а, напротив, безжизненными и механическими, и мир представляется в этом новом зву-

* Царападус — плодовой гибрид, полученный из степной вишни и японской черёмухи садоводом Иваном Мичуриным. Имя его стало анекдотом, в котором смерть настигла садовника под увешанной арбузами ёлкой.

чании колхозной рембазой, лишённой всякого вдохновения. Но этого я ещё не знаю.

Не я хотел переворачивать всё с ног на голову, но таковы были правила, которые люди слишком уж часто меняли. Поумирали вожди, перессорились племена. Всё прежнее оказалось ошибкой и морем пустых бессмысленных слов. Только книги всегда были тем, чему стоило доверять. Их нельзя уже было исправить, и всё оставалось навечно до тех пор, пока не писалась другая книга. Но и она не отрицала, а увеличивала уже существующее. Поэтому не столько разговоры, сколько именно книги давали пищу для мифов. Главным стало чтение старой книги прабабкой, в Петербург не попавшей, а в Ленинград ехать не захотевшей, о том, что в Ораниенбауме есть *наиприимущественнейшая* в своём роде катальная горка.

На карте Ленинград — как план идеального мира — город ста островов. Живи, где хоч. Только б найти такой, где никто бы не жил... Я бы там поселился. А вот Робинзон-непоседа уехал. Но здесь людоедов нет. Здесь — музеи, театры, дворцы. Здесь — «Аврора». Здесь была Революция и Блокада. Здесь разводят мосты. Здесь — белые ночи. И люди красивы. Потому что не может быть по-другому. Потому Ленинград — моя козырная карта. Вот Васильевский остров с его чудными линиями, вот остров боевой — Канонерский, а вот дорога на Турухтанные острова, что прячутся за обрезом. Там ведь точно никто не живёт. Тайна. Карточный фокус. Как умно сделали его люди, что рисуют карты в тихой конторке на Пряжке.

Невообразимо длинная горка, о которой мечтает всякий ребёнок, прочитанная под Новый год и невесть как запомненная, прямиком отправила меня в этот город, где и горок-то не было толком, где снег таял, не долетая до земли, а низкое небо искушало сумасшествием.

Ничему нельзя верить, но всё нужно видеть своими глазами, иначе получишь по носу. Вот и оранжевый город был теперь Ломоносов, а в разговоре — короткий Рамбов. Сократилась и горка, так что покатые снежные громады в зимнем Городке по сравнению с ней — великаны.

*

Память, как ожидание Нового года. Я сижу в старом кресле и смотрю в ёлочную виноградную гроздь зелёного стекла. На узорчатое окно, на пушистую ёлку с салфетным придуманным снегом. Под ней Дед Мороз — религия детства. Ко мне он особенно щедр, поэтому ставлю под ёлку валенки брата. Верю и позже, но уже знаю, что он сам по себе, а подарки отдельно — от мамы, от папы, от тёток. От брата — щелбан...

Даров уже нет. Далёкие детские боги повлекли за собой и другое. Главное, что я усвоил от них — идею расплаты. И чтобы уйти от неё, нужно взрослеть или казаться другим.

Это теперь понимаешь, что вся прелесть детства происходит из связи слов простой и прошлый. Но изменить ничего невозможно и простоты уже никогда не достичь.

*

Каждая зима — удивление: только четыре, а уже вечереет. Сумерки засиняют снег. Он кажется пенной застывшей волной. Закрывать глаза — и слышен шум прибоя: гул автострады мешается с западным ветром. Будто стая легавых, он крутится в вершинах деревьев. Ему уже нечем поживиться. Он бросает деревья и голодно крутится у трубы. Но вьюшка закрыта, и от голода он начинает свистеть и гудеть. Коты прислушиваются, прядут ушами, лезут на печь и закрывают носы: завтра снова мороз.

Деревня засыпает рано. Читаю. Крузо всё живёт на своём острове и делает дом — обживает пустыню. У него нет зимы, и странно, что он носит шкуры. Понять мысль, по которой в жару нужно одеваться теплее, лучше в мороз. И не сидеть бы ему столько лет, будь там зима. Зима — как дорога. Она объединяет куски Земли и, вместе, делает мир белым пятном. Потому именно здесь волшебство — Новый год. До него ещё долго, и сейчас можно только вспоминать и мечтать.

Я лежу и смотрю в окно, будто в сон. На заснеженных крышах высокие телеантенны кажутся мачтами прильнувших к берегам кораблей. Окно совмещается с другим,

за которым зелёный купол с жёлтым крестом. За ним, за Новой Голландией, у другого берега — другие мачты. Это барк «Крузенштерн». Адмирал многолик — внизу тоже он — уже в человеческом виде, но в бронзе. Взгляд бредёт дальше, будто по карте, на запад, туда, где в неприятном холодном соборе лежит его именитый прах. Иван Фёдорович Адам Антон Иоганн одинок и утешают его только два Андреевских флага, склонённых над каменным изголовьем могилы...

За стеной снова ветер. Воздух рябит, и смотреть уже невозможно. От долгого дня глаза словно забиты песком. Откуда песок? Старый двор просыпается, оседает в моём рассеянном сне. Ручейки песка уходят вниз. Обнажается старое дно. Встают из песка сараи. Их не сломали, а просто засыпали. Улица вновь возвышается над двором, прорезается лужа и оттуда чёрным потоком льётся вода. Но прежнее «море» теперь не стоит, оно течёт дальше. Подъезд становится причалом. Темнеет. Зажигают огни. Всё видно так чётко, будто я навсегда снял очки. Последняя мелюзга устремляется вверх по реке. Мост надламывается и идёт вверх, будто какая-то невидимая сила надрывает его изнутри. Он дыбится, расходится и замирает в индийском молитвенном жесте. Вода на минуту становится свободной от движения. Она кажется ровно зернистой, отражая синие росчерки ночных огней. И следом за этим начинают движение сухогрузы и танкеры, похожие на длинные клоунские башмаки. Они осторожно ступают друг за другом, как циркач по канату. Мимо плывут диковинные имена несуществующих русских владений: «Fort Ross», «Харбин», «Порт-Артур», позабытые «Ревель», «Вильна», «Батум» и совершенно невозможный «Б'ълморъ». И только старый фрегат с круглым облачком над клотиком мачты сквозь просвет моста безнадежно смотрит вслед каждому «земляку», не в силах тронуться с места.

Далёкий «Berlin» сипит, отходит от пирса и медленно втискивается в прореху. Мост скрипит. Воеет старый металл. Видно, как моряки на верхней палубе «машками» и руками расталкивают берега — придерживают мостовые «ладони».

Мост пройден. Пароход уже «обгоняет» Сенат. Он так огромен, что нельзя взглянуть на него, не уронив фуражки. Она катится и падает в воду. Пароход рядом, но не «Берлин», а давно почивший «Нахимов». На баке стоит человек. Он машет и что-то кричит. Лицо его всё надвигается, и то мне кажется, что это тот самый земляк, то — барин Сергей Петрович. Я не слышу, но понимаю. Бегу по краю причала, запинаюсь за трос. Цепляюсь, но не могу ухватить. В руке он странно худеет. Его покидает стальная упругость. Он обдирает мне руки, но я кидаю его, как аркан. Он летит вслед ушедшей в темноту корме. Попал? Не попал? Причал дёргается. Провода рвутся, и гаснет свет. Падаю и цепляюсь за что-то. Причал трогается и плывёт сквозь мосты, мимо соборов, дворцов, коммуналок, за повороты Невы — на восток — в самую глубь России.

СОДЕРЖАНИЕ

На причале	11
В кольцо.....	39
Барин	56
Поезд	92
Городок	125
Свет в окне	157

Мызников Дмитрий Викторович

ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ

Оформление В. Котеленец

Редактор А. Кирилин

Корректор Г. Петрова

Верстка Т. Афанасьева

Подписано в печать 15.10.2015 г. Формат 84x108/32
Гарнитура Myriad Pro. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 500 экз. Заказ № 4804

Отпечатано в типографии ОАО «Алтайский дом печати»
656043, г. Барнаул, Б. Олонская, 28

ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ

Дмитрий Мызников родился в Барнауле. Закончил филологический факультет. Жил в Ярославле, Норильске и Петербурге. Работал учителем и журналистом. Публиковался в журналах "Крещатик", "Культура Барнаула". Писал очерки и рецензии для "Литературной газеты Алтай". Женат. Воспитывает сына и дочь. Это первая книга автора.

